

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ



МЕДВЕЖАТНИЦА

Annotation

Это пятый роман серии «Семейный Альбом» («Аристонмия», «Другой путь», «Счастливая Россия», «Трезориум»). Действие происходит в 1950-е годы, во времена послесталинской «Оттепели».

- [Акунин-Чхартишвили](#)
 -
 -
 - [Тест № 1302](#)
 -
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [Одноатомная молекула](#)
 - [Жизнь по Шопенгауэру](#)
 - [Человек со стальными зубами](#)
 - [Двое из Цюриха](#)
 - [«Красный мак»](#)
 - [Воскресник](#)
 - [Напарник](#)
 - [Окобога](#)
 -
 - [1](#)
 - [Введение в эгохимический анализ](#)
 - [Жанна Самари](#)
 - [Беседы с Пифией](#)
 - [Хребтина](#)
 - [Кремлевская звезда](#)
 - [Для души](#)
 - [«Жизель»](#)
 - [Шило](#)
 - [Про чудеса](#)
 - [На яву](#)
 - [Приложение](#)

- Таблицы из брошюры «Введение в эгохимический анализ»
 - notes
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
-

Акунин-Чхртишвили

Медвежатница

© Akunin-Chkhartishvili, 2022

* * *

Тест № 1302

Первый сеанс (этапы 1-3)

11 марта 1955

Тип: «УТРО-Ж»

Персональная картотека: Б-23

Возраст: 26 л.

Образование: высш. (гум.)

Закрой глаза.

Ты – это ты, но не здесь и не сейчас, а в Риме, за несколько лет до рождения Христа. Ты патрицианка, дочь сенатора.

Поскольку ты лучше меня знаешь, как были устроены жизнь и быт во времена ранней империи, обойдусь без подробных описаний. Просто представь, что ты находишься в своей спальне-кубикуле и смотришь через окно в перистиль, внутренний дворик родительской усадьбы.

Опиши, что ты видишь, что ощущаешь, о чем думаешь. Не задумывайся. Включи воображение и не сдерживай его.

Пауза около минуты.

– Я вижу колоннаду. Сакрарий, где хранятся домашние боги, погружен в густую тень. Но середина перистилия залита ярким солнцем. Утренний воздух свеж. Журчит фонтан. Никого нет. Из курины доносится аромат свежего хлеба... Я ни о чем не думаю. Я просто наслаждаюсь тишиной и покоем.

Ты видишь, что во дворик входят двое. Женщина и высокий, широкоплечий мужчина. Я знаю про них лишь то, что она – твоя служанка, он – надсмотрщик над рабами. Расскажи мне про них, очень коротко. Самое главное.

Короткая пауза.

– Она хорошая, я ее люблю. Он злой, жестокий человек. Я его боюсь, хоть он всего лишь слуга.

Тыходишь к серебряному зеркалу, смотришь на себя. Как ты выглядишь? Попробуй взглянуть на себя со стороны.

Медленно, с паузами.

– Молодая женщина с печальными, скорее даже испуганными глазами, с неулыбчивым ртом... Такая серая мышь, не привлекающая ничего внимания. Сразу видно, что привыкла к одиночеству и

нисколько им не тяготится... Никаких украшений. Волосы вопреки августианской моде не завиты. Бледная, потому что основную часть времени проводит дома, в отцовской вифлиоотеке. Достаточно?

В комнату входит отец. Ты его любишь и чтишь, ты знаешь, что он желает тебе только добра, но по его нахмуренному лицу видно, что предстоит нелегкий разговор.

– Юстина, – говорит он, – настало время решить, как ты хочешь прожить свою жизнь. Я не тиран, мы с матерью долго терпели твоё упрямство. Но вот настал день, когда по велению богов перед тобой открываются две дороги, и по одной из них ты должна будешь отправиться.

Сегодня у меня побывали два вестника. Первый – от легата Публия Карра. У него закончился траур по усопшей супруге, ему нужна хозяйка для дома и мать для его детей. Он просит твоей руки. Ты знаешь Публия. Он ещё молод, хорош собой, всеми уважаем. С ним ты ни в чем не будешь нуждаться, а кроме того он ценит твою образованность, твой ум. Тебе ведь нравится разговаривать с ним о книгах? Это редкое сочетание: солдат с интересом к философии или скорее философ, ставший солдатом. Я бы не предлагал тебе этого брака, если бы не знал, что Публий тебе приятен.

Второй посланец прибыл от великого понтифика. Скончалась одна из шести весталок. В случае скоропостижной кончины великой жрицы закон предписывает заменить её римлянкой точно того же возраста, отвечающей всем установленным требованиям. Однако найти невинную девицу 26 лет, чтоб была благородного происхождения, имела кроткий нрав и хорошо знала заветы предков, очень трудно. Понтифик пишет, что сразу подумал о тебе. Он наслышан о твоей учености и твоей несклонности к легкомысленным развлечениям.

Я не принуждаю тебя ни к первому, ни ко второму, но я принуждаю тебя сделать выбор. В любом случае здесь ты больше не останешься. Никто не сватается к моим младшим дочерям, пока старшая не замужем. Решай прямо сейчас. Я жду.

– Итак, что ты выберешь?

Сразу, без колебаний.

– Я пойду в весталки.

Вы с отцом прибываете к подножию Палатинского холма, где рядом с круглым Храмом главной римской богини Весты, находится резиденция понтифика максимуса.

Вас проводят в таблинум к важнейшей после императора особе Рима. Это высокий и прямой, как колонна, старик с тяжелым взглядом из-под полуприкрытых век. Он в белой тоге с пурпурной каймой, на поясе висит атрибут высшей духовной власти – сецеспита, священный кинжал кипрской бронзы.

Великий человек долго смотрит на тебя своим прищуренным, немигающим взором. Медленно говорит:

– Я всё про тебя знаю. Я про всех всё знаю. А чего не знаю – то мне сообщают боги. Ты скромна, но тверда. Умом остра, но не суетна. Не подвержена плотским соблазнам. Верна чести и долгу. Ты подходишь мне по всем качествам. Сейчас, заглянув в твои глаза, я подумал, что, может быть, даже жаль будет делать тебя всего лишь одной из шести римских весталок. Императору угодно основать храм Весты в Афинах. Хочешь отправиться туда? Греция – родина учености, которую ты так любишь. И там ты будешь «вирго майор», главной весталкой. Но знай: это многотрудная, хлопотная служба. Придется не только создавать новый храм, но и противодействовать козням жриц Афины – им не понравится конкуренция. Что ты предпочитаешь, дочь моя – плыть в другую страну или остаться здесь?

Без колебаний.

– Я лучше останусь в Риме и буду обычной весталкой.

– Да будет так, – кивает понтифик и просит твоего отца выйти.

Когда вы остаетесь наедине, он торжественно говорит:

– Прежде чем ты присоединишься к сонму весталок, нужно пройти испытание. О нем никто не знает за пределами храма, и тебе придется дать клятву молчания. Даже если ты будешь отвергнута богиней, нарушить тайну нельзя. Никто, даже твой отец, не должен знать, что происходит в Львином Чертоге. Повторяй за мной: «Клянусь, что

выпью чашу яда, если когда-нибудь расскажу непосвященному, как меня испытывала богиня».

Ты повторяешь клятву и спрашиваешь, что такое Львиный Чертог, в чем будет состоять испытание и зачем оно.

– Чертог ты увидишь, через что тебе предстоит пройти – узнаешь, а нужен сей ритуал, ибо хоть я понтифик максимус, но всего лишь смертный и могу ошибаться. Вдруг я приведу к Весте ту, которая ей неужодна? Идем во Дворец Весталок, богиня испытает тебя.

Крытой галереей вы проходите в расположенное по соседству величественное здание, где обитают достопочтенные жрицы, на молитвах которых держится благополучие великого Рима. Миновав анфиладу мраморных комнат и атриум с двумя фонтанами, вы оказываетесь перед медной дверью. Она заперта, но понтифик берет свой древний кинжал, вставляет резную рукоятку в скважину, и створки раскрываются.

Вы в небольшом помещении, освещенном несколькими светильниками. Между ними поблескивает золоченый барельеф – львиная морда с разинутой пастью.

Твой спутник переходит на шепот.

– Ты должна засунуть в зёв руку, нащупать один из шаров и вынуть. Если шар окажется черным, ты отвергнута. Если белым – принята.

– Почему ты шепчешь, о великий? – так же тихо спрашиваешь ты.

– Потому что внутри ядовитая змея. Если она спит, я не хочу ее разбудить.

– Она может меня укусить? – пугаешься ты.

– Да. Такое не раз случалось. Некоторые от яда умирают в корчах. Некоторые выживают, но ужаленная рука отсыхает. Однако если укушенная сумела вынуть жребий и он белый, – ее все равно принимают в весталки. Однорукие жрицы пользуются еще большим почетом.

– А если она меня ужалит, но шар окажется черным?

– Тогда горе тебе, – вздыхает понтифик. – Ты потеряешь руку, а может быть и самую жизнь понапрасну. Так что? Будешь совать руку в пасть или отвести тебя назад к отцу?

Пауза, недлинная.

– Если движение будет стремительным, змея не успеет испугаться. Во всяком случае замуж за легата-философа я точно не пойду. Если останусь с одной рукой, он и сам меня не возьмет.

Ты засучиваешь рукав. Прислушиваешься – не раздастся ли из черной дыры шипение. Лев в упор смотрит на тебя своими сверкающими золотыми глазами, понтифик так же неотрывно – своими полуприкрытыми.

Наконец, собравшись с духом и стиснув зубы, ты быстро суешь руку вниз. Ты готова наткнуться на шершавую чешую и ощутить боль укуса, но пальцы сразу нащупывают круглое, гладкое. Схватив шар, ты поскорей отпрыгиваешь от львиной морды. Твое сердце бешено колотится. Судорожно сжатая кисть не хочет разжиматься. Понтифик сам берет твою руку, бережно поднимает ее.

Шар белый.

– Я прошла испытание! – кричишь ты радостно.

Верховный жрец раздвигает желтые зубы, издает квохтающий звук. Это он так смеется.

– Ты прошла испытание, – подтверждает он. – Но никакой змеи внутри нет, и все шары там белые. Испытание заключалось в том, чтобы проверить твоё мужество. Весталка не может быть трусливой. Иначе в роковой миг она подведет богиню. Теперь вернемся к твоему отцу. Согласно обычаю, он должен отказаться от дочери и передать тебя мне.

И вот понтифик производит обряд. Нарекает тебя «аматой» – возлюбленной жрицей богини Весты. Заплетает твои волосы в семь косиц, повязывает их лентой. Облачает тебя в длинную широкую stole. Ты произносишь слова торжественного обета: в течение тридцати лет клянешься сохранять девственность, ибо она принадлежит Весте, а если нарушишь зарок, то будешь похоронена заживо на Проклятом Поле и родственники не поставят на домашний алтарь поминальную табличку с твоим именем.

Отец почтительно склоняется перед тобой. Ты больше ему не дочь, ты – одна из Шести Посредниц между римлянами и богиней, без покровительства которой погаснут очаги в домах, распадутся семьи и разрушится Вечный Город.

Потом понтифик велит непосвященному удалиться и обращается к тебе с такой речью:

– Возлюбленная сестра моя, ты заступаешь на место аматы Терезии, покинувшей земной мир. Она была Хранительницей Священного Огня – поддерживала пламя в сакристии. Но если тебе это служение не по нраву, любая из остальных весталок за исключением главной, поставленной надо всеми, охотно с тобой поменяется, ибо сохранять огонь – самая почетная из обязанностей.

– А каковы остальные обязанности? – спрашиваешь ты.

– Сначала дослушай про обережение Огня. Он – наша святая святых и ни на миг не должен угаснуть. Служба проста. Каждые четыре часа нужно подливать в чашу масло, днем и ночью. Никто кроме тебя не смеет войти в сакристий. Это значит, что ты будешь всегда одна, вдали от солнечного света. Лишь раз в день ты сможешь ненадолго покинуть святилище, чтобы доставить частицу Огня в один из храмов других Семи Богов, согласно установленному порядку. Если пламя в святилище погаснет, тебя ждет жестокое наказание кнутом. Сообщу тебе то, чего никто в Риме не знает. Амата Терезия, твоя предшественница, нарушила свой долг. Она была больна, потеряла сознание, и Огонь погас. За это я должен был предать Терезию бичеванию, и она, подточенная недугом и раскаянием, не вынесла, испустила дух...

Другая весталка ведает Пентралием, где хранятся великие реликвии Рима, сокрытые от взглядов. Она еще бóльшая затворница. Ей воспрещено отлучаться даже на краткое время. Из людей она видит только меня, ни с кем другим ей разговаривать нельзя.

Хранительница Воды каждый день приносит воду из Священного Источника, окруженная ученицами, будущими весталками. Она же и воспитывает девочек – такова ее служба.

Хранительница Правды тоже занята с утра до вечера. Она свидетельствует своей непорочностью истинность завещаний и договоров. Ей нужно понимать людей и сердцем чувствовать обман, чтобы не уронить честь Храма.

Наконец есть Хранительница Священной Муки, которой осыпают жертвенных животных и которую ставят на домашние алтари. Эта весталка, окруженная свитой, мелет муку собственными руками – иногда даже ночью, потому что спрос очень велик.

Выбирай, амата, кем ты хочешь быть?

Почти без колебаний.

– Я останусь Хранительницей Огня.

– Почему? Ведь это единственная миссия, где за ошибку жестоко наказывают?

– Ничего, у меня огонь не погаснет. Это лучше, чем всё время сидеть в четырех стенах, не видя белого света, как Хранительница Пентралия. Да еще постоянно общаться с этим извергом, который запарол до смерти больную женщину. Остальные три должности вообще не для меня. Там все время надо находиться в центре внимания. Я этого терпеть не могу.

В первый же день твоей службы ты должна совершить торжественный выход. Тебе предстоит сопроводить частицу Священного Огня в храм Асклепия. Он находится на острове Тиберина, посреди реки Тибр.

Белоснежные лошади медленно катят тебя по улицам в разукрашенном карпентуме. Впереди торжественно вышагивает ликтор, кричит: «Чтите весталку!». Прохожие благоговейно склоняются перед колесницей. Ты держишь на коленях бронзовую лампу. Если огонек в ней и погаснет, нестрашно – можно вернуться и взять частицу от главного пламени. С ним в твое отсутствие ничего не случится, масла достаточно.

Вдруг ликтор велит вознице остановить лошадей.

– Прошу прощения, амата, – говорит ликтор, приблизившись. – Видишь, на берегу толпа. Это казнят гнусного злодея Гаюса Горшечника – того, что осквернил и потом задушил свою шестилетнюю сестру. Суд приговорил его к позорной казни: мерзавца запихнут в мешок с шелудивой собакой, ощипанным петухом и гадюкой, а потом утопят в зловонном Тибре. Обождем здесь.

– Разве толпа не должна расступиться, чтобы пропустить колесницу весталки? – удивляешься ты.

– Конечно, должна. Но ты ведь знаешь обычай. Если мимо преступника, осужденного на смерть, проследует жрица Весты, казнь отменяется. Приговоренный получает помилование. Не хочешь же ты спасти выродка от заслуженной кары?

– Как ты поступишь? Велишь ликтору двигаться дальше, и отвратительного Гаюса отпустят на волю – или дашь правосудию свершиться?

Ответ сразу.

– Никого нельзя лишать жизни, даже очень плохого человека. Я скажу ликтору, чтобы колесница ехала дальше.

Когда ты возвращаешься в храм с острова, к тебе подходит старая весталка Октавия, Хранительница Воды.

– Молю тебя, сестра, – говорит она жалобно. – Поменяйся со мной, пока ты еще не свыклась со своей службой. Я стара, мне уже шестой десяток. Все время болит спина, поднимать тяжелое для меня мука. Амфора с водой из священного источника весит целый талант. С каждым днем мне всё тяжелее приносить кувшин на вытянутых руках, без остановки. Однажды я уроню его, и тогда с Римом произойдет несчастье. А еще мне все труднее справляться с девочками-ученицами. С подростками вечно что-то не так. Ради милосердной Весты, пожалей меня!

Ты говорила, что ты ненавидишь быть в центре внимания, и я знаю, что ты не выносишь подростков.

– Я их просто боюсь! На пятом курсе у нас была практика, я месяц преподавала историю в школе. Вы не представляете, что творилось у меня на уроках. Дети будто чувствовали, что при мне можно ходить на головах!

– Так что ты ответишь Октавии?

Недолгая пауза.

– Ну как ей откажешь?

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗ-Т ПО ТРЕМ ЭТАПАМ:

Э.85

Д.85

Д.70

ОДНОАТОМНАЯ МОЛЕКУЛА

Одноатомная молекула

*Скажут тебе мудрецы, что ничтожен
единственный атом,
Сотканы все вещества из сплетенья
молекул;
Скажут другие: но атом единственный –
вечен!
То и другое, поверь, одинаково будет
нелепо.*

Кто-то в свободное время для отдыха и удовольствия разглядывает марки, пилит лобзиком, вяжет или вышивает. Тина Белицына по вечерам, предоставленная сама себе, писала на латыни поэму «Природа сущего», оммаж Лукрециевой «Природе вещей». Старалась по возможности попадать в дактилический гекзаметр, а если с первого раза не получалось, возвращалась к строфе снова и снова. Торопиться было некуда.

Поэма еще не дошла и до середины. Нынешняя песнь, по счету одиннадцатая, называлась «Одноатомная молекула». В точных науках Тина разбиралась мало, но недавно прочитала в книге, что есть такая физическая абстракция – молекула, состоящая только из одного атома и потому обладающая тремя степенями свободы. Это я, сразу подумала Тина. Сама по себе молекула, ни с кем не связанная, ни от кого не зависящая и абсолютно свободная – насколько можно быть свободным в материальном мире.

Прочитала вслух последнюю строчку, испытывая почти чувственное наслаждение от звучности древнего языка: «Aequa videtur enim dementia dicere utrumque».

Отец, профессор-античник, говорил, что латынь прекрасна как остановившееся мгновение. Ибо совершенна и неизменна. К средневековой латыни он относился с презрением – недаром ее называют «вульгарной». «По-настоящему красивым бывает только то, чего больше не существует, – говорил папа. – Потому что оно уже не испортится, не запачкается и принадлежит вечности».

На работе недавно был разговор о Пушкине. Завредакцией Аркадий Брониславович говорил, что, судя по верноподданническим стихотворениям поздней поры, в пожилом возрасте поэт наверняка превратился бы в махрового реакционера и монархиста. Непременно бы «славы, денег и чинов спокойно в очередь добился». Но Александра Сергеевича в тридцать семь лет убили, и лишь благодаря этому он остался для потомков певцом свободы. «Какая разница, кем он мог бы стать! Важно, каким он был – и теперь будет всегда», – возразила Тина – конечно, мысленно. На людях она обычно помалкивала, предпочитала слушать.

Латынь навсегда останется латынью, Пушкин – Пушкиным. Они навеки защищены благородным янтарем времени от разложения. Как всё, что нельзя изменить и к чему нет возврата. Как родной город Ленинград, который теперь живет только в ее памяти, нетленный и лучезарный. В раннем детстве она понятия не имела, что город наречен именем вождя мирового пролетариата – была уверена, что город так зовут в честь мамы: Ленин Град. Маленькая Тина, подражая папе, называла маму «Леной», родителей это очень веселило.

Конечно, Ленинград где-то существовал и теперь, но то был уже какой-то совсем другой город. Настоящий Ленин Град навечно остался в сорок первом – там, откуда тринадцатилетнюю Тину вместе с другими преподавательскими детьми увезли в эвакуацию.

Папа, мама, дом, лучезарный город замерли, как прекрасное мгновение, возврата туда нет.

Тетя убеждала, что, пускай ленинградская квартира разорена и разворована, все равно жилплощадь есть жилплощадь, надо ехать и предъявлять законные права. Но от слова «жилплощадь» Тину передергивало. Жилплощадь не может быть родным домом, послеблокадный Ленинград не может быть Лениным Градом. Пусть остается таким, каким его сохранила память.

«Patria quis exul se quoque fugit?»^[1] – сказал отец, когда десятилетняя Тина пришла с уроков в слезах и спросила его: почему, почему мы не уехали, как все *наши*?

Это был ее первый и последний день в школе. Как многие поздние дети, она часто хворала, с наступлением осени начинала задыхаться от бронхиальной астмы, и родители получили разрешение учить ребенка дома, благо оба были педагогами. Экзамены за начальные классы Тина

сдала с легкостью, но в средней школе учиться заочно могли только инвалиды первой группы.

Первого сентября она пошла в пятый класс, ужасно волнуясь, что все вокруг окажутся умнее и бойчее ее, что она, привыкшая к мягкости отца и терпеливости матери, будет плохо понимать учителей.

Но школьные преподаватели показались Тине совершенными игнорабусами, а ученики очень медленно соображали и не могли ответить на самые простые вопросы.

На уроках было скучно, а на переменах нервно. Одноклассники спрашивали про непонятное. Девочки со смехом дергали кружевные манжетики, которые по гимназической памяти пришила ей мама. Мальчики ужасно развеселились, что ее зовут Юстина, и стали рифмовать: Юстина-скарлатина, Юстина-буратина, Юстина-свинина. «Буратину» она еще стерпела, хоть и переживала из-за длинного носа, но на «свинину» ко всеобщему восторгу расплакалась, и после этого ее звали уже только Свинойой, Свинюхой и просто Свиньей.

В конце дня подошла толстуха с красной повязкой, сказала, что она председатель совета отряда, и спросила, почему ты без галстука?

«Потому что я не пионер», – ответила Тина.

«Откуда ты ваще взялась? Ты из лишенцев что ли? – закатила глаза девочка. – Чего вы в семнадцатом году не уехали, как все ваши? Вот на кой ты мне такая в отряде?».

Папа был светлая голова, но и он, и Гораций ошибались. Теперь, в свои двадцать семь, Юстина это твердо знала. Настоящая родина – внутри. Ее покинуть невозможно, и она тебя тоже никогда не покинет.

От посещения школы родители ее каким-то образом избавили. Потом, уже в Москве, в военное время, Тина просто сдала курс десятилетки экстерном и стала ждать, когда вернется из эвакуации филфак. Но без комсомольского значка учиться можно было только на вечернем, по той же причине не взяли в аспирантуру, так что заниматься наукой не получилось.

Античница в третьем поколении – после отца, в тридцать два года ставшего ординарным профессором императорского университета, после деда, впервые переведшего на русский язык комедии Плавта, – Юстина Белицына работала младшим редактором в словарном издательстве. Перекладывала карточки, вносила правку, деликатно указывала кандидатам, а то и докторам филологии на ошибки в

рукописях. Некоторые шутливо спрашивали, не является ли латынь ее родным языком. Тина только застенчиво улыбалась. Не признавалась, что в детстве по-русски с ней говорила мама, а папа только на латыни, и какой из языков роднее еще вопрос.

* * *

Об академической карьере Тина не жалела. Гуманитарные науки, даже, казалось бы, очень далекие от всякой идеологии, превратились в профанацию. Открываешь любую работу по истории Рима, и в первой главе обязательно что-нибудь из Маркса-Ленина-Сталина, да и потом всё про классовую борьбу, базисы и надстройки. Куда лучше и достойнее редактировать словари и учебники.

Отдел, в котором работала Тина, раньше назывался «Редакция мертвых языков» и, хоть потом был переименован для благозвучия в «Редакцию классических языков», в издательстве все говорили просто «Мертвецкая». Так что она была Тина из «Мертвецкой».

С работой уникально повезло. Сотрудники все немолодые, интеллигентные, учили древние языки еще в гимназии. К Тине относились по-отечески и по-матерински, опекали, в обиду не давали. Поскольку из-за книжной пыли у нее сразу начинался астматический кашель, Аркадий Брониславович разрешил работать на дому. В редакцию Тина навещалась только отдать-забрать рукопись, снять вопросы с авторами или консультантами. Но чаще сама ходила к этим уважаемым, занятым людям на службу.

Сегодня, например, была в университете, на кафедре классической филологии – уточняла правку по букве «S» с доцентом Смысловским, научным рецензентом малининского «Латинско-русского словаря», готовившегося к переизданию.

Хороший был день.

Во-первых, Тина очень любила место: Аудиторный корпус со стеклянным куполом, соединение старых стен и молодых лиц, перекрестье чего-то темного и древнего со светлым и устремленным в будущее. Когда-то здесь был Опричный двор Ивана Грозного, а теперь, у памятника, опирающегося на глобус Ломоносова, курили и болтали студенты. Сюда Тина стала ходить, как только факультет вновь

открылся в сорок пятом, и седенький Радциг приветствовал своих тощих, половина в гимнастерках, слушателей торжественным «Salvete, amici!», а те хором отвечали «Salve te quoque, professor!», и будто не было никакой войны, и никогда не прерывалась священная эстафета передачи сокровенного знания от Учителя ученикам.

Ну и, конечно, работать с доцентом Смысловским, восходящей звездой латинистики, наслаждение. Он был молод, всего тридцать пять лет, а уже готовился защищать докторскую, и все говорили, что Михаилу Александровичу уготовано большое академическое будущее.

Одна из главных радостей жизни – общение с человеком, который интересуется тем же, что и ты. Три с половиной часа пролетели незаметно. Смысловский, кажется, тоже остался доволен редактором. Наговорил приятных слов, горячо поблагодарил за то, что Тина «избавила его от несмываемого позора» (имелось в виду, что она заметила в его рецензии несколько мелких упущений) и на прощание даже подарил свой снимок с лестной надписью: «Юстиниане Премудрой с восхищением». Это с его стороны было старомодно и, наверное, немного тщеславно, но Тина растрогалась. Давняя университетская традиция. Ее папа тоже дарил свои фотографии на память любимым аспирантам, а на книжных полках у него стояли в рамках портреты профессоров, которые когда-то учили его самого.

Вечером, дома, Тина любовалась снимком: какое умное, одухотворенное лицо! Совсем не похожее на те, что видишь на улице или в трамвае.

Поставила снимок за стекло, к книгам. Но сначала, конечно, сделала обязательную ежевечернюю влажную уборку.

Регулярно протирать мокрой тряпкой все поверхности велела Мария Кондратьевна, участковый врач, к которой Тина раз в неделю ходила на ингаляции. Приступов кашля, тем более удушья, уже очень давно не случалось.

Pulveris interitus^[2] был последней «обязаловкой» дня (это Тина сама с собой так шутила, соединяя высокую латынь с советским жаргоном). Потом наступало время релаксации и удовольствий.

Написать пару строф поэмы, послушать музыку, дожидаться одиннадцати, а там можно умыться, попить чаю, сходить в туалет.

Квартира была коммунальная. Когда-то, до революции, ее всю занимала сестра отца Агриппина Леонидовна, выросшая в Петербурге,

но получившая место в московской женской гимназии. Тетя была старой девой, жила вдвоем с горничной. По тем временам квартира считалась очень скромной, только три комнаты.

После революции тете оставили одну, самую маленькую, две остальные дали горничной, уже бывшей, которая привезла из деревни родню. Сейчас за стеной жила дочь горничной, военная вдова, с сыном-подростком. Тина старалась с соседями не пересекаться. Когда они находились дома и могли выйти в коридор, из комнаты, своей крепости, не выглядывала. Ела один раз в день, когда Матрена Ефимовна была на работе, а Васька в школе. Сначала мыла плиту, потом долго, вдумчиво готовила, красиво сервировала стол. Тетя была отменная кулинарка «минималистской школы», как она это называла, то есть умела создавать из очень простых продуктов замечательно вкусные блюда. Тина тоже этому научилась. А еще в буфете хранился чудесный фарфоровый сервиз с наядами. Каждый обед становился трапезой.

В уборную Тина тоже приучила себя ходить по часам, как собака, и только когда была дома одна. Предварительно, конечно, тщательно мыла унитаз, а сидение приносила свое. То же с мытьем в ванной.

Ничего не поделаешь, в отдельных квартирах живут лишь генералы и академики. Еще повезло, что только одни соседи, а то было бы совсем трудно.

По воскресеньям, когда Матрена дома, Тина на весь день уходила в Ленинку, в издательстве ей сделали пропуск в профессорский зал. Вместо обеда пила в буфете чай с ром-бабой и кремовой трубочкой. При зарплате младшего редактора это выходило дороговато, но должны же в жизни быть праздники.

А впрочем, в Тинином существовании приятного хватало. Эпикурейцы учат: всё, что не причиняет боль, является наслаждением, и не понимающий этого – глупец.

Тяжело было в последние два года тетиной жизни, когда Агриппина Леонидовна впала в деменцию и переместилась в свой собственный мир, по ту сторону четырнадцатого года. Еще и ослепла. Называла племянницу «Марфушей» – принимала за горничную. Перед смертью требовала священника – причаститься. Где в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году было взять священника? Притом тетя, выпускница бестужевских курсов, всегда числила себя атеисткой.

Теперь-то, в статусе «одноатомной молекулы», Тина обрела покой и наполнила свою *existentia* каждовечерними праздниками.

В прошлом году, накопив деньги, приобрела проигрыватель и с каждой зарплаты покупала новую пластинку. Включала тихонько, чтобы соседи не начали колотить в стенку. Закрывала глаза и не мешала музыке творить чудо. Оно происходило само собой, безо всякого усилия. Каждое произведение обретало визуальность, превращалось в нечто, подобное кинофильму. Какая музыка – такой и фильм. Подобным образом на Тину действовали все мелодии и даже песни – но последние лишь в том случае, если исполнялись на каком-нибудь непонятном языке. Слова, когда их смысл ясен, мешают – заглушают музыку.

Кино могло быть очень разным. Хорошим или плохим, красивым или безобразным, возвышенным или пошлым. Но пластинок, которые могут покоробить или расстроить, Тина, разумеется, не слушала.

Сегодня она поставила рахманиновскую «Элегию». С первых же аккордов, как обычно, увидела окутанную рассветной дымкой реку, по воде стелились длинные темно-зеленые водоросли. Потом сизый туман начал розоветь – сквозь него понемногу стало проглядывать солнце. Это было невыразимо прекрасно!

А скоро Копчиковы, соседи, улягутся и можно будет вскипятить воду, выпить чаю с соевыми батончиками. Не то чтобы она их особенно любила, но хорошие конфеты без очереди не купишь. Толкучки Тина не выносила. Люди в очереди становятся еще хуже обычного. Могут пихнуть, обозвать, оскорбить – ни за что. Тина от грубости становилась больная. Потому и продукты покупала только «недефицитные», которые продавались без столпотворения – уж какие были.

Розовый туман над рекой вдруг пошел клочьями, чудесная картина растаяла.

В дверь стучали.

– Два звонка! Тебе! – послышался из коридора сердитый голос. – Сама открывай, барыня! Шабесгоев нынче нету.

Матрена Ефимовна была юдофобка. Любила для пущей ядовитости вернуть еврейское слово или выражение – что-нибудь про «трефное» или про «вашу еврейскую мацу». Разуверить соседку Тина даже не пыталась. Пусть считает еврейкой, если хочет. Привыкла к этому. Черные волосы, диковинное имя-отчество «Юстина

Аврельевна», манера говорить, наконец «нерусская рожа» (как однажды выразились в автобусе) в глазах советского обывателя моментально маркировали Тину как чужую, а со времен «борьбы с космополитами» это автоматом помещало тебя в евреи.

Обычно в ответ на прямое хамство, как нынче, Тина ответила бы дрожащим голосом, в тысячный раз, что просит обращаться к ней на «вы» или проблеяла бы что-то совсем жалкое, вроде «как вам не стыдно так говорить», но сейчас она просто ужасно удивилась. К ней никто никогда – *никто никогда* – не приходил. Во всяком случае с тех пор, как санитары два с половиной года назад увезли отмучавшуюся тетю.

На лестничной клетке стоял доцент Смысловский. В элегантном пальто, в фетровой шляпе, с портфелем. Улыбался.

Тина была потрясена.

– Что случилось? И как вы меня нашли?!

– Вы же изволили оставить у меня вот это. – Он вынул из портфеля сумочку. – Внутри паспорт с штампом прописки. Так я и узнал адрес. Телефона же вашего, увы, не имею.

– У нас в квартире нет телефона... – пробормотала Тина, чувствуя, что заливается краской.

Как неудобно! Действительно, забыла на кафедре сумочку, проклятая распустиха. Всегдашняя история. А паспорт взяла с собой, потому что на работе, в отделе кадров, велели принести. Недавно случился скандал. Выяснилось, что в редакции среднеазиатских языков у одной сотрудницы нет московской прописки. Ее уволили, и теперь проверяют всех подряд.

– Ой, Михаил Александрович, мне ужасно совестно... Зачем же вы так утруждались? Я бы... Я не знаю... Потом спохватилась бы, сообразила, где я могла оставить сумку, и пришла бы сама, – залепетала она.

– Каждый гражданин СССР под угрозой административного наказания обязан иметь документ, подтверждающий личность, милая Жюстина, – с шутливой строгостью сказал Смысловский, называя ее на французский лад. – Мы что, будем стоять на лестнице?

Вконец смущенная, Тина открыла дверь шире.

– Здравсьте, – приподнял доцент шляпу перед соседкой.

Та ответила:

– Ага.

И не тронулась с места. Тонкогубый рот растянулся в неприязненной улыбке.

– Абрам с Сарочкой ходят парочкой, – процедила Матрена Ефимовна – по ее понятиям очкастый в шляпе, конечно, мог быть только евреем.

Но Смысловский, слава богу, не расслышал.

– «Элегия»? – кивнул он на открытую дверь Тининой комнаты, откуда лилась тихая музыка. – Авторское исполнение? Обожаю. А помните, как Рахманинов был под запретом? Его только во время войны реабилитировали, когда он начал закупать медоборудование для Красной Армии.

Повесил пальто и шляпу, вошел в комнату, не дожидаясь приглашения, уверенный в себе, светский – полузабытое слово из прошлой жизни. «Были светские, а стали советские», любила повторять тетя, когда еще не впала в слабоумие.

Все-таки наши ленинградцы не такие, как москвичи, со странноватой гордостью подумала Тина. Смысловский говорил ей, что вырос на Лиговке.

Как и положено человеку интеллигентному, прежде всего Михаил Александрович направился к книгам. Сделал вид, что не заметил своей фотографии под стеклом (Тина покраснела).

Воскликнул:

– Сейчас умру от зависти! У вас смоленский «Овидий» 1796 года! Всюду его ищут!

– Это папин, – объяснила она. – Когда я уезжала из Ленинграда в сентябре сорок первого, папа собрал мне в чемодан самые ценные издания. Боялся, что дом разбомбят и они сгорят...

– Да-а, у вас тут прямо пещера Аладдина!

Доцент любовно провел пальцем по корешкам.

Пауза затягивалась. Тина не знала, как себя вести. Предложить сесть? Но тогда нужно будет заводить беседу, а она понятия не имела, о чем кроме рабочих дел разговаривать с таким человеком, без пяти минут доктором наук.

Михаил Александрович пришел ей на помощь:

– Чаю у вас дают?

– Я кипячу чайник только поздно вечером, когда...

Тина стушевалась.

– Вас смущает суровая дама, что торчала в коридоре? «Эриния, в мраке бродящая вечном»? Она подвергает вас гонениям? Пустяки какие. Хотите я с ней поговорю? Попросту, по-фронтовому. Впредь будет как шелковая.

Он не только ученый, он еще и фронтовик, с благоговением подумала Тина. И вспомнила, как в редакции говорили, что Смысловский «хорошо воевал», имеет боевые награды.

– Пожалуйста, не надо! – замахала она руками. – Вы уйдете, а мне с ней потом жить.

– Ну, тогда вместо чая...

Он вынул из портфеля бутылку «кагора» и коробку настоящих шоколадных конфет.

– Что тут у вас по части емкостей?

Стал весело хозяйничать. Вынул из буфета хрустальные фужеры, которыми Тина последний раз пользовалась на новый пятидесятый год, еще с тетей. Правда пили они не вино, а лимонад. Ловко, двумя пальцами, сорвал золотистую крышечку, разлил порфиновый напиток, поставил рядом два стула – очень близко друг к другу.

У Тины засосало под ложечкой. Она вспомнила еще один редакционный разговор, вернее обрывок разговора. Анна Львовна Эйдлис сказала Валечке Соколовой-Трегубовой, ведущему редактору латинского словаря: «Вы с этим вашим рецензентом поосторожней, милая. Мужчина он, конечно, интересный, но имеет репутацию селадона». Сказано было про Смысловского, про кого же еще! Не про второго же рецензента, профессора Лациса, которому сто лет в обед.

Неужели Михаил Александрович пришел не просто отдать паспорт, а... *с намерениями?*

Не может быть! Но бутылка, но шоколад... И мог ведь просто позвонить завтра в редакцию, не ехать вечером домой к малозначительной издательской сотруднице.

Тина вся одеревенела, а доцент распечатал конфеты, сунул ей в руку фужер.

– За что бы нам выпить?

Его взгляд упал на перекладной «Музыкальный календарь», лежавший на столе.

– «14 октября 1843 года впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона», – прочитал Смысловский вслух. – Отличная годовщина. Нужно выпить за любовь.

Кавалерист какой, подумала Тина и нахмурилась. В битве упоительной, лавиной стремительной.

– Лучше выпьем за успешное переиздание словаря.

Он осторожно, негромко чокнулся, посерьезнел.

– Знаете, я ведь к вам приехал не только сумочку отдать, но и повиниться. А также от души поблагодарить. Вы были правы насчет того глагола. Я вас высмеял, но потом, когда вы ушли, на всякий случай полез проверять. Оказывается, он встречается еще у Секста Проперция, и просторечным его никак не назовешь. Буду снимать курсив «вульг.». Mea culpa^[3].

Михаил Александрович потупил голову, а Тине сделалось совестно.

«Как я могла заподозрить, что он... Что за самомнение! Тоже еще объект вожделений, посмотрела бы на себя в зеркало! Господи, а вдруг он догадался, что я такое про него подумала? У меня вечно всё на лице написано».

– Но как вы-то до такой тонкости докопались? – спросил Смысловский столь почтительно, что Тина окончательно устыдилась. – Ведь сам Малинин ошибся!

– Среди отцовских книг есть грамматический справочник Тюбингенского университета, довольно редкий. Я по нему проверяю всё сомнительное. Сейчас достану, покажу.

Она перенесла стул к полкам. Место справочника было на самой верхней. Чтобы дотянуться, пришлось встать на стул. Сняв тапочки, Тина залезла, приподнялась на цыпочках.

Вдруг сильные и очень горячие руки взяли ее за талию – там, где задралась кофточка и обнажилось тело. Пальцы нежно провели снизу вверх по голой коже. Та мгновенно пошла мурашками, а сама Тина вся заледенела.

Тогда, осмелев, доцент легко снял ее со стула, поставил на пол и стал сзади целовать в шею. Ладонями накрыл груди, легонько сжал.

Ничего более отвратительного с Тиной за двадцать семь лет жизни не происходило.

– Немедленно отпустите, – прошептала она сдавленно. А когда он не послушался, крикнула что было мочи:

– Уберите руки!

Смысловский отшатнулся. В стену свирепо заколотили.

Развернувшись и глядя снизу вверх на безмерно удивленную физиономию «селадона», Тина прошипела:

– Как вам не стыдно!

– Что за перепады! – растерянно и оскорбленно сказал Михаил Александрович. – Сначала оставляете адрес... Знаю я эти женские штучки!

– Никаких штучек! – Ее голос задрожал от слез. – Как вы могли! Как вы могли! Я больше не буду с вами работать. А если еще когда-нибудь увижу вас в редакции...

– Что вы сделаете? – язвительно поинтересовался он. – В партбюро про мой моральный облик напишете?

– Я уволюсь.

С доцента слетел весь лоск.

– Тоже еще! «Жюстина, или Несчастливая судьба добродетели»! – Он задохнулся от возмущения. – Да нужна ты мне, вобла сушеная!

Повернулся – и за дверь. Обиделся.

Только Тина перевела дух, а он снова тут как тут.

Портфель забыл.

– Бутылку свою с конфетами заберите, – ледяным тоном сказала Тина.

– Выкиньте.

Теперь еще и хлопнул створкой. В стену опять застучали.

Тину трясло от нервов и омерзения. Она протерла одеколоном бока и шею – там где их касался Смысловский. Осторожно потрогала грудь. Господи, какая гадость.

Долго потом уговаривала себя успокоиться и в конце концов справилась. Помогла самодисциплина.

Всё хорошо, что хорошо кончается.

Початую бутылку «кагора» как военный трофей убрала в шкаф. Одну конфету вынула из коробки, чтобы выпить с чаем. «Южная ночь», с мармеладом. Они стоят чуть ли не пятьдесят рублей килограмм, еще и не достанешь.

И кстати уже двенадцатый час. Кухня, ванная и туалет теперь были в полном Тинином распоряжении.

Начала она с душа, чтобы окончательно смыть мерзкое воспоминание. Отдраила ванну, прежде чем в нее встать. Не забыла проверить, на месте ли дверная затычка. Некоторое время назад обнаружила там дырку. Это наверняка Васька, отвратительный мальчишка, просверлил, чтобы подглядывать.

Чай Тина Белицына допивала стоя у окна. Всегда так делала. Смотрела в темноту, где горел один-единственный квадратик – в доме напротив, на самом верху, в мансарде.

Там тоже всегда ложились поздно. Тине почему-то казалось, что это кто-то одинокий. Может быть, такая же одноатомная молекула.

Переулок назывался Пуговишников. И ночью застегнутыми в нем оставались только две пуговицы – Тина и кто-то бессонный напротив.

Пожелав мансарде спокойной ночи, Тина улеглась в постель, запретила себе снова переживать и пережевывать случившееся.

Dormi, idiota!

Жизнь по Шопенгауэру

Обычных праздников – собственный день рождения, Новый год, тем более «красные даты календаря» – Антон Маркович Клобуков не отмечал. Праздновать нужно что-то радостное, а факт твоего появления на свет – радость сомнительная, наступление очередного года – повод задуматься о будущем, которое никаких фейерверков не сулило; про День международной солидарности трудящихся, годовщину Великого Октября или Сталинской Конституции вообще, выражаясь по-французски, *passons*, а по-английски – *no comment*.

Стоило бы, конечно, отмечать день рождения дочки, но Ада так пугается любого события, нарушающего рутину. Ей нужно, чтобы всякий день был в точности похож на другие.

Взамен Антон Маркович завел собственные празднества, сугубо личные – «дни благодарения» – и отмечал их не по разу в год, а ежемесячно. В эти дни он делал себе подарок: вспоминал тех, кого любил и кого больше нет. Согласно мудрому совету поэта Жуковского, не говорил с тоской «их нет», а с благодарностью: «были». В праздничный день вспоминать трагический финал строго-настрого запрещалось – этим горьким снадобьем были приправлены все остальные дни, а «благодарение» отводилось только для счастливых реминисценций. Их в жизни Клобукова, что бога гневить, тоже было немало.

По девятым числам он мысленно возвращал к жизни погибшего на фронте сына – потому что последний раз видел Рэма 9 марта 1945 года, на Московском вокзале.

Четырнадцатого – то есть сегодня – отмечал праздник Мирры. 14 октября 1937 года был последний день, который Клобуков провел с женой. Очень счастливый день – после одиннадцати очень счастливых лет. Конечно, жизнь есть жизнь и бывало всякое, но сейчас тот период вспоминался сплошным непрекращающимся праздником. Как холодной, ненастной зимой солнечное лето на благословенном юге.

Придя из института и поработав над трактатом, Антон Маркович собирался уложить Аду спать, но она уже легла сама, что было необычно, и свет в ее комнате не горел. Может быть, девочка

почувствовала, что отцу сейчас нужно побыть одному. Иногда она бывала поразительно чуткой – на каком-то интуитивном уровне.

Клобуков налил рюмку «Отборного» (Мирра всегда покупала этот коньяк на праздники), порезал на блюдечко лимон и с неспешностью гурмана стал минуту за минутой вспоминать события восемнадцатилетней давности.

Событий 14 октября 1937 года в общем-то никаких особенных не было, да и провели они с Миррой вместе только утро. Но каждое мгновение Антон Маркович бережно восстановил в памяти и раз в месяц смаковал заново.

Вот звонит будильник. Они в постели. «Давай быстренько, – шепчет она, – мне же в командировку». По утрам они всегда занимались любовью, потому что оба были жаворонки: вечером клевали носом.

Последнее – и для нее, и для него – любовное слияние Антон Маркович вспоминал с закрытыми глазами, с мечтательной улыбкой. Потом был завтрак (два яйца всмятку, кусок хлеба с маслом, стакан чая). Потом дорога на вокзал (до «Парка» пешком, оттуда по Кольцевой до «Комсомольской»). Тамбур пассажирского вагона. Мирра обнимает его, коротко целует, говорит: «Ну всё. Топай, топай! Тебе на работу. И не скучай. Сегодня прооперирую, завтра понаблюдаю, и обратно. Недалшний свет, всего лишь Кострома. Одна нога здесь, другая там». Отчетливо вспомнился запах паровозной копоти и колесной смазки. Это и сбило. Память обоняния перенесла в другой мир, военный. Антон Маркович три года провел в санитарных эшелонах, и тех железнодорожных воспоминаний было в тысячу раз больше.

Тоже тамбур, женщина. Обнимает за шею, касается щеки губами. Военврач Филиппова. Была милая, умная, хорошо смотрела в глаза. Но он взял ее за руки, отодвинул. Может быть, если бы это произошло не в тамбуре и не напомнило бы Мирру... Да нет, не может. Все равно не смог бы. Не единственный ведь случай. В эшелоне было столько молодых женщин: врачи, сестры, санитарки. От постоянного зрелища страданий и смерти, от страха попасть под бомбежку всем хочется забыться, прижаться, да просто – жить. А он – начальник, медицинский авторитет, нестарый мужчина. И влюблялись, и, как раньше писали в романах, помогались. Но Антону Марковичу казалось, что это будет

предательством. Если изменить живому человеку стыдно, то изменить Мирре – после того, что с нею случилось – просто невообразимо.

Он и военврача Филиппову теперь вспомнил лишь потому, что она тогда обиделась, перевелась во фронтовой госпиталь и в сорок третьем, во время харьковского отступления, пропала без вести. Получается, погибла по его вине.

Нет, вспомнил не только поэтому. Она была очень хороша, очень. Это сейчас, на исходе шестого десятка, с физиологией стало легко. Гормоны успокоились, пришло освобождение. Ни будоражащих снов, ни самобичевания за неподвластные мысли. А тогда, после поцелуя в тамбуре, он всю ночь не мог уснуть, огонек папиросы прыгал в трясущейся руке.

Вышедшая из-под контроля память немедленно вытащила из прошлого другую трясущуюся руку, верней ту же самую, собственную, только держала она не папиросу, а конверт. На нем штамп НКВД.

Ужасное воспоминание, не для праздника, но как его отгонишь?

Письмо пришло через три месяца после Мирриного ареста. А могло, наверное, и вовсе не прийти, если бы не Филипп Бляхин. Есть люди, и их немало, которые только сейчас узнают, что те, кого они ждали столько лет, оказывается, давным-давно умерли.

Антон Маркович позвонил Филиппу, чтобы узнать, когда Мирру выпустят – ведь *они* получили то, чего хотели. (Это было отдельное, мучительное воспоминание, которое висело на совести тяжким пожизненным грузом). Бляхин не стал разговаривать, повесил трубку, а вечером подстерег после работы и устроил выволочку: с ума ты что ли спятил, никогда не звони мне по таким вопросам. И вообще не звони. Будет что сказать – я сам тебя сыщу. Но потом смягчился, пообещал выяснить. Терпи, сказал, жди, с ходатайствами и передачами не суйся, только хуже сделаешь. И еще потом несколько раз говорил: жди, машина у нас на забор шустрая, а в обратную сторону неторопливая.

И вот наконец пришло письмо на бланке. Подследственная М. Носик скоропостижно скончалась от остановки сердца и похоронена на спецкладбище, куда доступ родственникам запрещен.

Антон Маркович не поверил, что Мирра умерла. У нее было идеально здоровое сердце. Пошел на прием к наркомюсту Крыленко, своему пациенту, проклиная себя, что послушался Филиппа и не сделал этого раньше.

Николай Васильевич сказал, что в чем, в чем, а в подобных вещах органы не ошибаются. Вышел из-за стола, соболезнующе потрепал по плечу. Тихо, будто боясь, что подслушают, шепнул: «У них и со здоровым сердцем умирают. С запросами никуда не обращайтесь. Они ошибок признавать не любят. Сейчас ваша жена проходит как подследственная, и только. А могут задним числом и приговор вклеить. Ваши сын и дочь станут детьми врага народа».

И все равно Клобуков не поверил, что Мирры больше нет. Попросил наркома проверить. Но того через несколько дней самого арестовали и вскоре расстреляли по делу о фашистско-террористической организации альпинистов и туристов. Совсем недавно, в этом году, реабилитировали, восстановили в партии. Неизвестно, что тут макаберней – «фашистская организация туристов» или посмертное возвращение партийного билета...

Антон Маркович горько, лишь краешками рта, улыбнулся – и тут же вспомнил, как широко улыбалась Мирра, как залиvisto она хохотала. Сколько в ней было жизни! Она и была жизнь. Ушла – и жизни не стало.

Больно кольнула мысль: а ведь сегодня на всем белом свете никто кроме меня, ни единая душа о Мирре не помнит, будто ее никогда не было.

И вдруг очень захотелось узнать, помнит ли маму Ада. Это всегда было загадкой, что девочка помнит, а что нет. То начисто забывала случившееся пять минут назад, то внезапно оказывалось, что она хранит в памяти какие-то вещи из совсем раннего детства.

Ада аномально много спала. Часов по двенадцать в день, а зимой и дольше. Во сне она была, пожалуй, активнее, чем когда бодрствовала. И плакала, и смеялась (наяву – никогда), и что-то шептала. Дорого бы Антон Маркович заплатил, чтобы заглянуть в ее сны.

Может быть, она не спит, а просто лежит в темноте? Такое часто бывает.

Сходить, проверить? И если не уснула, спросить про маму. Вдруг ответит?

Сегодня Антон Маркович писал главу про Шопенгауэра, учащего жизни, в которой нет любви, потому что она не нужна. «Не надо ничего ждать от внешнего мира и от людей, – советовал апологет

солитарности. – Один человек очень мало в чем может пригодиться другому; в конечном итоге ты всё равно остаешься сам по себе. Так что всё зависит только от твоего собственного качества». Философ велел не отравляться скверными воспоминаниями, не терзаться несбывшимся, обходиться без «импорта» эмоций и ничего, совсем ничего не страшиться.

Завидный *modus vivendi*, но, увы, невозможный. Как это – не отравляться воспоминаниями после того, что случилось с женой, с сыном, да и с тобой самим? Хорошо было герру профессору в его девятнадцатом веке. И как это – ничего не страшиться, когда есть Ада?

Антон Маркович до ледяной дрожи боялся умереть. Что тогда будет с дочерью? Она и от самых приятных, ласковых чужих людей шарахается либо вовсе их игнорирует – как было в санитарном эшелоне, где все с Адой тетешкались (пришлось ведь возить девочку с собой, с кем ее оставишь?). А что будет, если она попадет в какой-нибудь инвалидный дом, с равнодушным персоналом?

В двадцать два года Ариадна выглядела на четырнадцать. По виду – обыкновенный подросток, юная миловидная девушка с несколько сонным лицом и странным, обращенным внутрь взглядом, но ничего ненормального. Иногда на улице, когда Клобуков выводил дочь подышать воздухом и кто-нибудь к ней вдруг обращался – спрашивал дорогу или время, – Аду принимали за глухонемую. Она будто не слышала.

Но говорить она умела, просто делала это очень редко и чаще всего невпопад, словно обращалась к самой себе или к кому-то невидимому. На вопрос отца могла ответить, а могла и промолчать. Со своей черепахой, которую никак не звали, Ада разговаривала гораздо чаще, но одними губами, беззвучно. Рептилия поднимала кожистую голову, внимательно слушала и подчас вроде бы даже кивала.

Так они втроем и жили: ученик Шопенгауэра, спящая красавица и разумная черепаха.

Диагноза Ариадне так никто и не поставил, хотя Антон Маркович показывал дочь лучшим специалистам. Психиатрия, как известно, самая малоизученная область медицины. Академик Вычегодов, светило из светил, признался: «Знаете, коллега, все мои познания – результат эмпирики и изучения прецедентов, которое, бывает, подводит. Наши ученнейшие статьи и доклады на конференциях – не более чем дымовая

завеса для маскировки невежества. Как говорил Бехтерев, устройство мозга знает лишь Господь Бог».

Выйдя из кабинета в коридор, Антон Маркович подошел к Адиной двери на цыпочках.

В квартире было целых четыре комнаты, правда, крошечных, десятиметровых. Планировала ее когда-то Мирра. В конце двадцатых еще существовали паевые кооперативы для граждан, имеющих право на дополнительную жилплощадь. Им с Миррой полагались лишние метры и как медработникам, и как молодой семье с ребенком, а у него уже была научная степень. И зарабатывали они оба очень хорошо, тогда еще не запретили «коммерческую медицину». Он как опытный анестезиолог был нарасхват, она уже делала, чуть ли не единственная, косметические операции. Купили у частного застройщика в мансардном полуэтаже квартиру без стен, перегородки соорудили сами. «Здесь твой кабинет, здесь мой, – рисовала мелом на полу Мирра, – здесь спальня, здесь детская».

Тогда, на пике «квартирного вопроса», это было фантастическим буржуизмом. Конечно, сейчас члены-корреспонденты имеют жилплощадь получше, и Антону Марковичу предлагали переехать в новый академический дом на Соколе, но он отказался. Потому что здесь, в Пуговишникове, прошли главные, счастливые годы. Потому что здесь жили Мирра и Рэм. И потому что это разрушило бы весь Адин мир, в котором царствует неизменность.

Из Адиной комнаты доносилось странное трещание. С короткими интервалами: хрррр, хррррр, хррррр. Такое ощущение, что из-под двери.

Удивленный, Антон Маркович тихонько повернул ручку, потянул створку на себя.

На полу, задрав голову, сидела черепаха. Звуки издавала она. Поразительно! За восемнадцать лет Клобуков слышал ее голос впервые.

Но были и другие звуки, которые доносились из темноты, от кровати. Хриплое, прерывистое дыхание. Что-то было не так, обычно Ада спала бесшумно.

Нахмурившись, он приблизился, щелкнул лампой. Сон у дочери всегда был очень глубокий. Если уж уснула, включенным светом на разбудишь.

Лицо покрасневшее, на лбу испарина. Потрогал пульс – за сто. И температура, очень высокая.

Сходил за фонендоскопом.

В легких влажные хрипы, явная крепитация. Похоже, пневмония. Сунул под мышку градусник. Ого! Тридцать девять и семь.

Спокойно, доктор – вы же доктор.

В таком состоянии больных госпитализируют, но это исключается. Собственно, и не нужно. Пережиток прежних допенициллиновых времен. Конечно, требуется наблюдение врача, но врач вот он.

Согласно последнему отчету Мосгорздрава, все отделения «скорой помощи» обеспечены ампулами с пенициллином.

Сейчас проверим.

Вышел в коридор, набрал 03.

Ответили довольно быстро. Антон Маркович сказал, что нужно прислать машину по поводу пневмонии, госпитализация не потребуется, но у дежурного врача обязательно должен быть с собой бензилпенициллин. Если нет, он позвонит в центральную.

– Кто это такой ученый академик, всё знает? – сказала телефонистка «скорой». – Вот и звонили бы в академическую, раз такой умный.

– Здесь не нужен специалист из академической поликлиники, – терпеливо ответил Антон Маркович. – Чтобы сделать инъекцию, достаточно обычного врача. Да вам и ехать ближе, чем оттуда. Я действительно член-корреспондент Медицинской академии наук. Фамилия Клобуков. Больная – моя дочь. Просто пришлите машину, пожалуйста, и непременно чтоб был бензилпенициллин. Укол я сделаю сам, у меня рука легкая.

– Диктуйте имя больной и адрес, – официальным тоном произнесла телефонистка. – Высылаю машину. К вам приедет доктор Епифьева, очень опытный врач.

Клобуков не выносил, когда кто-то «трясет эполетами», как говаривали в старые времена, и никогда себе этого не позволял, но тут случай экстраординарный. А всё же стало стыдно. Подумалось: всякого человека с принципами нужно ставить в ситуацию, когда соблюдение этих принципов подвергнет угрозе кого-то очень близкого и дорогого. И если ты пожертвовал принципами, то ты демагог и лицемер. А если пожертвовал близким человеком, то ты нелюдь. Что же получается?

Коррупция – а использовать свой статус в личных целях безусловно коррупция – человечна, бескомпромиссная принципиальность же бесчеловечна? Надо будет об этом поразмышлять.

Врач позвонил в дверь всего через двадцать минут – то ли потому что «скорую» вызвал академик, то ли она действительно хорошо работала.

Переваливаясь, вошла седенькая, маленькая, какая-то диспропорционально раздутая женщина в пенсне, в теплом пальто поверх белого халата. Начала с извинений, что так долго.

– Я половину времени по лестнице поднималась. У вас ведь на Пуговишникова, 26 нет лифта, а я хромая.

Показала на массивный ортопедический ботинок. Она, кажется, еще была горбатая или аномально сутулая. Помогая снять пальто, Антон Маркович увидел, что у врачихи в самом деле кифоз, и сильный.

– Сейчас помоем руки и посмотрим вашу Ариадну Марковну, – уютно проворковала доктор. Голос у нее был очень приятный, улыбка такая, какая и должна быть у врача: успокаивающая.

Антон Маркович представился. Разумеется, без титулов.

– А как ваше имя-отчество?

Подал полотенце.

– Мария Кондратьевна Епифьева. Вы тот самый Клобуков, из Румянцевского института? Я читала вашу статью по предоперационному психологическому изучению пациента с целью выбора оптимальной анестезионной программы. Конечно, в условиях обычной районной больницы это невозможно, но очень интересно.

Он удивился. От врача «скорой помощи» не ждешь такой осведомленности. Медики куда более высокой квалификации, и те читают статьи только по своему профилю.

Присмотрелся к Епифьевой получше.

Пожалуй, она не была похожа на обычного врача «скорой помощи», и дело даже не в горбатой спине. Кто теперь носит пенсне на шнурке? Их уже лет тридцать не продают. И еще: лицо в морщинах, седые волосы на затылке стянуты в старушечий узел, а глаза удивительно молодые, невыцветшие от возраста – синие, с густыми ресницами. Брови тонкого рисунка. Общее впечатление странное. Будто миниатюрную красивую голову по ошибке посадили на уродливое

туловище, которое кажется еще шире из-за бесформенной пуховой кофты, виднеющейся под халатом.

Прошли к Аде.

– Бедная девочка. Как же это ее угораздило? – покачала головой Епифьева, пощупав лоб и доставая из кармана фонендоскоп.

– Ада любит открывать окно и подолгу стоит перед ним. Привыкла за лето, а теперь холодно. Я ей говорил этого не делать и думал, что она поняла. Но когда я на работе, она видимо все равно открывает. Понимаете, у дочери серьезная задержка развития.

Он всегда так говорил. Это звучало лучше, чем «она ненормальная» или «она слабоумная».

[Восприятие жизни: Рационал]

– Бог знает, задержка это развития или просто некий иной алгоритм развития, – снова удивила его врачиха мудреным оборотом речи. – Ладно, картина ясная. Сейчас сделаем укольчик, и нам станет легче. Может быть, хотите сами? Вы, наверное, настоящий Паганини шприца, с вашим опытом?

– Спасибо.

Антон Маркович сделал инъекцию. У него была причуда, заведенная еще в Цюрихе, в студенческие годы: вести счет уколам. Профессор Шницлер начал лекционный курс с вдохновенного панегирика Шприцу, который для анестезиста одновременно рыцарская шпага и волшебная палочка.

Это был укол номер 117523-ий.

– Не хотите ли чаю? – предложил Клобуков, когда доктор закрыла свой чемоданчик. – Можно позвонить в диспетчерскую и сказать, что вы здесь. Поступит следующий вызов, прямо отсюда и поедете.

Во времена его детства врача, пришедшего на дом с визитом, обязательно поили чаем, это было в порядке вещей. Мария Кондратьевна с ее пенсне и обходительными манерами будто выплыла откуда-то из дореволюционного прошлого, и предложить ей чаю казалось чем-то естественным.

– Ой, спасибо, – охотно согласилась Епифьева. – А то у нас в автомобиле рация сломалась, и каждый раз после выезда нужно возвращаться на базу. Там ужасно неудобные стулья, орет радио.

– Давайте я спущусь за вашей бригадой. Что же их в машине держать?

– Это будет лишнее. Шоферу и санитару никогда не скучно. Они, пока ждут, играют в дурака на щелчки по лбу. А здесь им будет неловко. Да и вам с ними. Кесарю кесарево, слесарю слесарево.

Вопиюще несоветская сентенция была произнесена все тем же мягким, уютным голосом.

– По крайней мере давайте я спущусь и скажу им, что вы задержитесь.

– Не нужно. Если врач не выходит более пятнадцати минут, согласно инструкции, санитар идет в квартиру сам. Сейчас появится.

И действительно. Не успел Антон Маркович поставить чайник, как в дверь позвонили.

– Чего тут у вас? – не поздоровавшись спросил угрюмый мужчина с мятой, отечной физиономией, глядя мимо хозяина на вышедшую в коридор Епифьеву. – Мы на шестой этаж носилки не попрем. Если чего – больничных вызывайте.

Он почему-то был в валенках с галошами – странная обувь для середины октября.

Мария Кондратьевна улыбочиво сказала санитару:

– Не беспокойтесь, Иван Егорович, носилки не понадобятся. Я тут еще побуду, а вы пока отдыхайте. Ночь впереди длинная.

Когда противный мужик вышел, врач вздохнула:

– Извините. Не люблю попадать в одну смену с Козаченко, но ничего не поделаешь. Очень неприятный тип.

– У него серьезные проблемы с печенью – по отекам и оттенку кожи видно, – сказал Клобуков. – Это сильно портит характер. Опять же малокровие – ноги мерзнут. А работа тяжелая, физическая. Бог с ним. Пойдемте чай пить. Ничего, если на кухне?

[Восприятие людей: рациоэмпат]

– Я тоже всегда пью чай на кухне. Самое лучшее место в доме. «Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин. Острый нож да хлеба каравай. Хочешь, примус туго накачай...».

Этих стихов Клобуков не знал. Судя по «белому керосину» и примусу, что-то из двадцатых. Они с Миррой на своей первой квартире тоже жгли керосин и качали примус...

– Пенициллин пенициллином, но на первых порах за больной требуется уход. Вы уверены, что справитесь, Антон Маркович? Может быть, все-таки лучше переправить вашу дочь в больницу? Вы ведь,

наверное, приписаны к академической. Там и лекарства, и опытный персонал.

– Медицинского смысла в госпитализации нет – нужен просто покой и постельный режим, а для дочери любое перемещение станет шоком. Ничего, пару дней не буду ходить на службу. Только завтра должен, ненадолго – попрошу соседку подежурить в квартире, не заходя к Аде. Она не любит чужих. Я не профессионал по уходу, но кое-какой опыт есть. Если не буду справляться, может быть, найму сиделку в нашем стационаре.

[Самооценка: Рационал]

[1 этап. Рационал-рациоэмпат-рационал 75]

– Вообще-то при выходе из тяжелой пневмонии рекомендуется капельница. В домашних условиях делать ее трудно.

– Мало ли что рекомендуется? – пожал плечами Клобуков. – Всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Физически Ада в отменной форме. Незачем накачивать ее химией. Буду делать массаж груди и спины, а остальную работу выполнит сам организм.

[Неконвенц.]

– Но есть ведь и психосоматика. Девушка необычная. Людей подобного устройства, как вы сами говорили, выбивает из колеи всякое нарушение рутины. Непривычные ощущения, страх, тревога могут привести к ухудшению физического состояния, замедлить выздоровление.

– Я тоже сейчас думаю об этом. Последний раз Ада болела в пять лет, корью. Попробую делать то же, что делал тогда. Буду читать ей вслух сказки Пушкина. Память у нее устроена особенным образом – может восстановиться уже прожитая когда-то, а стало быть не нервирующая ситуация... Простите, а что вы записываете?

[Креатив.]

– Для памяти. Давняя привычка. Чем больше знаешь про пациента, тем лучше. «Скорая помощь» – это у меня подработка. Вообще-то я ваш участковый терапевт. Мы с вами до сих пор не познакомились только потому, что у вашей дочери такое крепкое здоровье... Насчет реставрации детских воспоминаний не уверена. Все-таки столько лет прошло. Что делать, если у Ады начнется паника? Это может быть опасно.

– Тут возможны три варианта, – подумав, сказал Антон Маркович. – Попробую поставить ее любимую пластинку. Она, собственно, у Ады единственная, других мы не слушаем. «Фантастическая симфония» Берлиоза. Действует успокаивающе. Не поможет – дам валериановых капель. А еще можно просто сидеть рядом и держать ее за руку. Ритуал утомительный, потому что лучше совсем не шевелиться, но безотказный. В периоды возбуждения всегда помогает.

[Конструктив.]

[2 этап. Неконвенционально-креативно-конструктивный 100]

– Вот что мы сделаем. Забудьте про валерианку, этого недостаточно. Я вам сейчас выпишу транкозипам, это новейшее нервно-успокоительное средство. Сходите в ночную аптеку на Зубовский. Это ведь близко, за четверть часа обернетесь. Я пока побуду здесь. Будем надеяться, что срочного вызова за это время не поступит. Их за ночное дежурство бывает два-три, редко больше. А завтра, когда больная проснется – дадите ей две таблетки. И всё будет хорошо.

Епифьева быстро заполнила бланк и вдруг шлепнула себя по лбу.

– Ах, какая же я недотепа! Вы только посмотрите! Взяла бланки без подписи главного врача. Она для транкозипама необходима, это ведь лекарство из лимитного перечня! Что же делать? – Задумалась. – Есть два решения. Я могу съездить за подписью и вернуться сюда. Но существует вероятность, что меня кинут на другой вызов. Или что главврач будет не в духе, у него не самый простой характер. Либо же... – Она понизила голос. – Вот у меня здесь, на инструкции, есть подпись Льва Константиновича. – Достала листок, показала. – Она, как видите, не очень сложная. Можно ее изобразить на рецепте. Преступление не великое, это ведь простая формальность. У меня не получится, возрастной тремор – все-таки семьдесят два года. Попробуете?

Антон Маркович смутился.

– Нет, это нехорошо... Может быть, все-таки съездите? Или знаете что, давайте лучше я съезжу. Уж злоупотреблять служебным положением так злоупотреблять. Думаю, ваш главный врач членкору не откажет. А вы, если вас не затруднит, побудьте, пожалуйста, здесь.

[Неавантюр.]

– Да, так надежнее. Но тут другая проблема. Для быстроты вам лучше съездить на нашей машине. Но согласится ли моя бригада? Я для них не начальство...

– А если я им заплачу за беспокойство?

– Ни в коем случае! Шофер Зотов – секретарь партбюро. Лучше скажите им, кто вы. Ведите себя как высокое начальство. Прикрикните. Пригрозите. Это подействует.

– Знаете, я лучше такси вызову. По ночному тарифу они приезжают быстро, – промямлил Клобуков, на миг вообразив себе объяснение с шофером.

[Неконфликт.]

[3 этап. Неавантюрно-неконфликтный 100]

– Эх, была не была...

Мария Кондратьевна лихо махнула рукой и расписалась на рецепте.

– По-моему, получилось похоже. Всё, идите в аптеку.

До Зубовского и обратно Антон Маркович добежал трусцой. Запыхался, но транкозипам благополучно добыл, а Епифьева по-прежнему пила чай и строчила в своей книжечке. Из диспетчерской не звонили.

– Перейдемте ко мне в кабинет, – предложил успокоившийся и очень довольный хозяин. – Там удобнее. Кресла.

Его переполняла благодарность, хотелось приветить замечательную пожилую даму.

– Как много у вас художественной литературы, – удивилась Мария Кондратьевна, подойдя к книжным шкафам. – Для медицинского академика довольно неожиданно.

– Хорошая проза иногда дает ответ на мучающий тебя вопрос лучше, чем собственная жизнь или сочинение философа. Настоящий великий роман – это жизнь других людей, в которую тебя волшебным образом на время переносят. Ты выходишь за пределы своего «я», в то же время оставаясь собой.

[Артист?!]

– «Над вымыслом слезами обольюсь?»

– Это Пушкин, да? – Он виновато улыбнулся. – Честно говоря, я небольшой знаток поэзии. В ней форма заслоняет, а то и заменяет содержание.

[Все-таки ученый]

– А что живопись? У вас здесь совсем нет альбомов с репродукциями.

– Я скорее по части музыки. Но не для наслаждения алгеброй-гармонией, а потому что, если это *моя* музыка, она иногда пробуждает в моей голове какие-то свежие, даже неожиданные мысли. Мне вроде как открывается какое-то закрытое окошко.

[Неочевид.]

[4 этап. Метисность предполож. 50-50]

Клобуков перенес из кухни чайник, чашки, вазочку с печеньем. Епифьева с любопытством смотрела на письменный стол, где лежала рукопись трактата: слева толстая стопка уже исписанных страниц.

– Над чем вы работаете? Не похоже на научный текст.

– Так. Пишу, уже несколько лет, кое-что лично для себя. Но не роман, нет.

[Бульдог?]

Говорить с малознакомым человеком про трактат Антон Маркович не собирался. Он вообще ни с кем об этом не говорил.

Спохватившись, что на столе от празднования остались коньяк и нарезанный лимон, предложил:

– Я понимаю, вы на работе, но, может быть, несколько капель в чашку, для аромата?

– Спасибо. Я совсем не употребляю алкоголь. Берегу ясность мысли. Вы сказали, что все же придется завтра заехать на работу. Лучше бы, конечно, вам в первый день от больной не отлучаться, учитывая ее специфику. Вдруг она позовет, а в доме чужой человек.

– Да, это нехорошо. Но я обещал проконсультировать коллегу, которому предстоит участвовать в сложной операции. Ничего не поделаешь.

[Ответств.]

– Конечно-конечно, – уважительно покивала Епифьева. – Как это, должно быть, приятно, быть лучшим в своей профессии.

Она смотрела на стену, где в золотой рамке висела грамота «Лучший в профессии» – в прошлом году, на тридцатилетнем юбилее института такие выдавали по всем специальностям.

– Это Ада повесила, – улыбнулся Антон Маркович. – Ей нравится смотреть на змею, обвивающуюся вокруг чаши. А в анестезиологии у

нас в стране я не лучший. Третий или даже четвертый после Миркина, Свентицкого и, пожалуй, Саакянца из Ереванского нейрохирургического.

[Адекват.]

[5 этап. Профессионализм 100]

– У медиков вашего уровня, сочетающих практическую деятельность с исследовательской, двойная «луковка» – помните, у Достоевского? Про луковку, которая спасла душу? Во-первых, вы лечите больных, но этим, допустим, занимаюсь и я. Во-вторых, развиваете науку, а это уже принадлежит к области искусства, ибо всё, раздвигающее границы познанного, попадает в категорию искусства.

– Я в таких терминах о своей работе не думаю. У меня на самом деле всё просто. Мой враг – боль. Я физически не могу видеть, как люди мучаются. Когда-нибудь человечество полностью изгонит боль из жизни. Если на этом великом пути я помогу сделать несколько новых шагов, значит, я существовал непустую.

[Махаяна?]

– Ах, если бы руководители страны ставили перед собой сходную цель: сделать так, чтобы люди поменьше мучились, – печально сказала Мария Кондратьевна. – Но такого тезиса в программе партии, увы, не содержится.

Он воспринял эту реплику как признак доверия. С людьми, не вызывающими доверия, в нашей стране так не разговаривают. Совсем недавно за подобное высказывание можно было и под донос угодить.

– Повлиять на программу партии и руководство страны мы с вами не способны. Но делать то, что можем, обязаны.

[Хинаяна?]

– А у вас не возникает ощущения, что все ваши усилия, весь ваш труд разбиваются о бюрократизм, о казенщину, о равнодушие, о какую-то изначальную бесчеловечность всей нашей системы?

Вопрос был совсем уже «вражеский», как сказали бы еще несколько лет назад. В те времена Клобуков немедленно насторожился бы: не провокаторша ли? А сейчас ничего, спокойно ответил, ибо сам для себя давным-давно это сомнение разрешил.

– Сказано: «Делай что должно, и будь что будет».

[Хинаяна]

[6 этап. Хинаяна 70-80?]

Интересный случай. Нужно полное тестирование.

– Вот и славно, – пробормотала Мария Кондратьевна, убрала свой блокнотик и через пенсне посмотрела на вазочку. – Что это у вас, курабье? Какая прелесть. И дежурство спокойное, диспетчерская не дергает. Приятно поговорить с таким человеком. Вы ведь все равно не ляжете спать?

– Разумеется. Я буду следить за Адой, – ответил Антон Маркович. Он все время прислушивался – оставил обе двери открытыми.

– Вы только что произнесли старинную максиму «Делай что должно, и будь что будет», которая в тяжелые времена превращается для российских интеллигентов в магическое заклинание и принимается как аксиома. Я же весьма скептически отношусь к красивым формулировкам. На стадии практического применения позолота с них часто осыпается. Вот я видела у вас на полке роман Каверина «Два капитана»...

– Хорошая книга для подростков. Увлекательная и честная, плохому не учит. Это у нас большая редкость.

– Ну да. Сейчас все еще и фильм посмотрели. Твердят, как заведенные: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Две самые распространенные у нас формулы. Подростки борются и ищут, интеллигенты делают, что должно.

– Ну и что в этом плохого? Фраза Каверина прекрасна.

– Если уж на то пошло, не Каверина, а лорда Теннисона: «To strive, to seek, to find, and not to yield». Писатель ее использовал, потому что это эпитафия на памятнике лейтенанту Скотту, погибшему на Южном полюсе. Но ведь поэтическая трескотня, лишённая смысла! Если ты уже нашел, то в каком смысле не сдаваться? Продолжать искать то, что уже нашел? Или задать себе новую цель для поиска? Если второе, то хорошо было бы сформулировать это как-то попонятней.

Антон Маркович рассмеялся. Ему была приятна эта беседа – об отвлеченных материях и на равных, с человеком, который мыслит сам, а не повторяет где-то услышанное или прочитанное. Друзей у Клобукова не было, только коллеги, всякий разговор с которыми неминуемо сворачивал на рабочие темы.

– Так, а мы, русские интеллигенты, с нашим выстрадавшим лозунгом чем вам не угодили?

– «Делай, что должно и будь, что будет»? В более простом варианте это высказывание звучит так: «Мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай». Может ли этим девизом руководствоваться ответственный, взрослый человек? Вряд ли. Он должен думать не только о собственном душевном комфорте, но и о пользе дела, которое считает правильным. Чистейшей воды капитулянство это ваше «будь что будет».

Клобукову вдруг стало грустно. Она права, подумал он. Это кредо малодушия и эгоцентризма. Но ведь на большее у меня не хватило бы сил?

– Знаете, – сказал он тихо, – когда я учился в Цюрихе, одно время мне очень хотелось стать швейцарцем. Даже не так. Мне хотелось стать Швейцарией. Отгородиться от остального мира, дикого и полоумного, своими горами, своим нейтралитетом...

Не договорил, потому что Епифьева смотрела на него со странным изумлением.

– Что такое, Мария Кондратьевна?

– Вы учились в Цюрихе? Представьте, я тоже! И несколько лет работала там. В какие годы вы там были?

Он тоже разволновался.

– Правда?! Надо же! Я там жил во время Гражданской войны. До лета двадцатого.

– Нет, я уехала оттуда в четырнадцатом. То есть как – уехала? Думала проведу в России родителей и вернусь, но началась война, и я осталась здесь навсегда.

– Жалеете, – понимающе усмехнулся Клобуков. – Я, бывает, тоже.

– Нет. Всё, что ни происходит, к лучшему. Вот эта максима абсолютно верная, выдерживает любые, самые суровые проверки.

– Знаем-знаем. С такой точки зрения и смерть не страшна. «О мужи судьбы, не следует ожидать ничего дурного от смерти, – рек Сократ. – Очень возможно, что она – наивысшее из благ». Но чтоб так мыслить, нужно обладать толстенной броней позитивизма. Не всякому это дано. А кроме того...

Антон Маркович посерьезнел. Ему захотелось сказать про то, о чем он недавно думал: о роскоши бесстрашия, доступного только одиночкам вроде Шопенгауэра.

Но тут зазвонил телефон, диспетчер отправил Марию Кондратьевну на вызов. Записав адрес, она стала прощаться.

– Обязательно к вам завтра загляну. Уже в качестве участкового врача. Вы ведь моя территория.

Какая замечательная дама, думал Антон Маркович. И инвалид, и в возрасте, а сколько от нее тепла и света. Таких людей очень мало, а когда это еще и врач, совсем чудо.

Ада спала тихо, без хрипа, и лоб уже не горел. Рядом с подушкой лежала черепаха. Бог знает, как она туда вскарабкалась. Наверное, по свесившемуся на пол одеялу.

– Спите, девочки, спите, – прошептал Клобуков, хотя пол черепахи был ему неизвестен.

В дверь позвонили. Должно быть, бедная хромая Мария Кондратьевна что-то забыла и вновь была вынуждена подниматься по лестнице.

Нет. На пороге стоял очень высокий и очень худой человек с глубокими продольными морщинами на щеках, со стальным ежиком коротко стриженных волос. Шапку он держал в руке. В другой висел солдатский вещмешок. Одет мужчина был в черный грубый бушлат.

– Вы Антон Маркович Клобуков? Мог бы и не спрашивать. Похожи.

Незнакомец коротко улыбнулся, блеснули зубы, тоже стальные. Из-за них улыбка получилась жутковатой.

– Вы извините, что я среди ночи. Проходил мимо вашего дома, высчитал, что квартира 36 на шестом этаже во втором подъезде. Смотрю – окна горят. Вот и решил...

У Антона Марковича, хоть он еще ничего не понял, ни о чем не догадался, внезапно заныло сердце.

– На кого я похож? Вы, простите, кто?

– На сына вы похожи, младшего лейтенанта Клобукова. Я с ним воевал. Моя фамилия Санин. Ваш сын погиб у меня на глазах. Я привез его личные вещи. Долго вез, десять лет. Так получилось. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

«Как странно, сегодня ведь день памяти Мирры, а не Рэмки», – мелькнула в голове у Антона Марковича нелепая мысль. Он заморгал. И стало очень страшно. Сейчас ночной гость расскажет про то, как именно «погиб смертью храбрых» младший лейтенант Клобуков, и это

будет, как увидеть и пережить его гибель вновь – через столько лет, когда острая боль притупилась.

– Вы шли по ночному городу с вещами, – быстро сказал Антон Маркович, чтобы хоть немного оттянуть страшный рассказ. – Наверное, вам негде остановиться? Можно у меня, если вас устроит диван в кабинете.

Снова мелькнула короткая стальная улыбка.

– Вы угадали. Я с поезда. Деваться было некуда, да и Москвы я давно не видел, а я ведь москвич. Вот и устроил себе экскурсию. Сходил на Поварскую, я там когда-то жил. Потом решил посмотреть, что за Пуговишников переулочек – чтоб завтра не плутать. А у вас свет... Диван – это роскошно.

Он снял свой бушлат, под ним оказалась армейская гимнастерка со споротыми погонами.

– Нет, я не демобилизовался, – сказал Санин, поймав взгляд хозяина. – Я откинулся.

Пояснил:

– В смысле, после лагеря. Извините, разучился говорить по-человечески. Вы не думайте, отпущен честь по чести, имею надлежащую справку. У них там ныне торжество законности. – Опять улыбка, только теперь злая. – Невероятная штука – вернули вещи, с которыми замели десять лет назад. Каким-то чудом на складе сохранился мой фронтовой «сидор». – Он показал на мешок. – В нем планшет вашего сына. Там несколько ваших писем, одно с московским адресом.

– Значит, вас реабилитировали? – быстро спросил Клобуков, чтобы еще потянуть время. – Это такое невероятное облегчение, что людей стали выпускать и оправдывать – не только для них. Для всей страны.

– Нет. Меня не реабилитировали и не реабилитируют. Я «пособник». Вышел с ограничениями по месту жительства. Я, учтите, в Москве нелегально. Так что мне наверное лучше обойтись без вашего дивана. Мало ли что.

Интонация была вопросительная. Антон Маркович замахал руками:

– Что вы, что вы! Я вас не отпущу! Здесь никого, только я и дочь. Она... не разговаривающая, так что никто не узнает. Живите сколько понадобится.

– Нет-нет, я с вашего позволения только переночую. Завтра утром уйду.

В кабинете он обвел взглядом книги, лампу на столе, портрет Шопенгауэра, чему-то усмехнулся, но не зло, а мягко, словно иронически.

– Райская обитель. Сиживал и я точно под такой же лампой, готовился к экзаменам в академии. Волновался, что завалю... Куда можно положить вещи Рэма?

– На стол, на стол. Я пока чашки сполосну и чайник подогрею. Еще есть колбаса и сыр. Вы наверняка голодный.

– Не надо, я ел. И чаю не надо.

– А что такое «пособник»? – спросил тогда Антон Маркович. – Расскажите, пожалуйста, про себя. Потом про сына.

Санин кивнул:

– Я понимаю. Вам трудно. Хорошо, про себя... Я девятьсот седьмого года рождения.

Клобуков удивился – думал, ровесник.

– В позапрошлой жизни – майор Красной армии, недоучившийся генштабист. Главная моя карьера получилась отсидочная. Тут я всё время шел на повышение. В тридцать восьмом присел на двушку. Повезло, одному из немногих, выпустили. В сорок первом, под Киевом, попал в немецкий шталаг, отмотал три с половиной. В сорок пятом, в Бреслау, прямо с передовой, замели по доносу одного мерзавца, которого я, правда, перед тем немножко покалечил. Якобы я и еще один боец из бывших пленных, Качарава, шептались о том, чтобы перебежать к немцам. Ага, в осажденный Бреслау, в апреле сорок пятого, ...Но особистам плевать, правдоподобно или нет. Поступил сигнал – действуй. Качарава погиб – в том же бою, что ваш сын. Не стали отчетность портить, записали его павшим смертью храбрых за Родину. А я пригодился для другой отчетности, о бдительности СМЕРШа. Признался, что был в плену старостой барака. Брехня, но иначе забили бы до смерти. Получил стандартную «пособническую» десятку. В лагере за одно дело еще пятак навесили. Так что сидел бы и дальше, если бы не постановление семнадцать ноль девять. Указ от семнадцатого сентября «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами»... Ну вот и всё про меня. Теперь про вашего сына.

– Как он... был убит? – сжав под столом кулаки, спросил Антон Маркович. – Он сразу умер или...

– Ваш сын погиб героически. Красиво погиб. Даже картинно. И я вам это говорю не в утешение, это правда. Помните в «Войне и мире», как Болконский повел в атаку солдат, со знаменем? В точности так же. Только мы в атаку со знаменами не ходили... Убило его на месте. Наповал, в первую же секунду. Похоронили в братской могиле, со всеми остальными. У нас треть роты полегла на той поганой улице.

– Я летом был в Бреслау. По линии Общества советско-польской дружбы. – У Антона Марковича текли слезы, он утирал их ладонью. – Там на кладбище советских воинов целые шеренги братских могил... Я ходил, пытался почувствовать, в которой... Ужасно тяжелая там атмосфера, прямо дышать нельзя... Столько любви похоронено...

Он не сумел объяснить, что имеет в виду, потому что окончательно расквасился.

Санин сидел молча, ждал.

– ...Извините. Я не должен был терзать вас зрелищем родительской скорби, – сконфуженно сказал минуту спустя Клобуков, пряча платок. Сам понял, что это прозвучало манерно.

– Скорбь дело правильное, – спокойно ответил Санин. – Вот его вещи.

В скрипучем, почти новеньком планшете лежали парадные золотые погоны с маленькой звездочкой, открытки с какими-то немецкими видами, детский рисунок – похоже Адин, две фотокарточки и тетрадь в замшевом переплете – небольшого формата, но довольно толстая. Неужели Рэм вел дневник? Какой это был бы подарок судьбы – услышать живой голос сына! С забившимся сердцем Антон Маркович стал перелистывать. Увы. Мелкий незнакомый почерк, чуть не половина тонких, папиросной бумаги страниц выдраны. Похоже, они просто использовались для самокруток.

Взял фотографии.

Лихой старшина в фуражке набекрень, сзади надпись «Боксеру от горлодера». И совсем молоденькая девушка, почти девочка с жестким, пытливым взглядом. На обороте аккуратным почерком цитата из Пушкина и дата, сорок второй год. Значит, москвичка – Рэм в это время еще в школе учился. Внизу было и имя «Татьяна Ленская», но вряд ли настоящее. Дань пушкинским героям. В гимназические годы юный

Антон Клобуков, интересничая, подписывался в альбомах «Марк Антоний».

– Кто старшина, не знаю. Не из нашей части, – сказал Санин. – А снимок девочки в планшет я сунул. Он у Рэма в нагрудном кармане был. Где-то я вроде ее видел, у меня цепкая зрительная память. Но вспомнить не могу. Или мельком, или просто похожа.

– Наверное, похожа. Мне она тоже кого-то напоминает.

Антон Маркович всё смотрел на фотографию, которая, видимо, много значила для Рэма, если он носил ее на груди.

Ах, если бы знать, кто это. И найти. Ни для чего, просто посмотреть. Пускай она давно замужем, пускай даже забыла Рэмку, неважно. Все равно она – частица его жизни.

Вдруг вспомнил, на кого она похожа – только потому, что перед тем Санин упомянул Бреслау. Расстроился: не то. Там, в теперешнем польском Вроцлаве, была одна молодая женщина-экскурсовод, очень чисто говорила по-русски. Чем-то похожа. Повела делегацию показывать старый город, но Антон Маркович со всеми не пошел, он приехал не для осмотра вроцлавских достопримечательностей. Вместо этого отправился на воинское кладбище, ходил там по аллеям, горевал.

Кто бы ты ни была, московская девочка, живи подольше. И хоть изредка вспоминай Рэма.

Когда гость лег, Антон Маркович постелил себе на полу, около Адиной постели, и долго смотрел на темный потолок. Дочь спала бесшумно, было очень тихо. Лишь шелестела чем-то черепаха, ей тоже не спалось.

Человек со стальными зубами

Больше четырех часов в сутки Санин спать не умел. На рассвете он поднялся, собрался, оставил хозяину благодарственную записку и, не произведя ни малейшего шума, вышел.

Ближайшее почтовое отделение, присмотренное во время ночной прогулки, открывалось в восемь. Пришлось подождать.

Вчера Санин сказал не всю правду. Он забрел сюда, в Хамовники, не просто так. Был у него один адресок неподалеку, на улице Россолимо, где вроде бы сдавалось жилье таким, как он, полулегальным людям. Но на двери белела бумажка с фиолетовой печатью. Как говорят уголовные, хаза гикнулась.

На почте Санин открыл адресную книгу, прикрепленную к стойке двумя металлическими шнурами, и составил список городских справочных бюро, выстраивая маршрут. Оказывается, за семнадцать лет он не забыл топографию родного города.

Потом, проложив курс, двинулся по нему, от киоска к киоску: Зубовская площадь, Смоленская, Арбат, Бульварное кольцо и так далее.

Накануне, в темноте, он Москвы толком не разглядел, только уличные фонари да светящиеся окна. Зато теперь насмотрелся досыта.

Родной город перестал быть для Санина родным, он чувствовал себя здесь чужим, и всё вокруг было чужое, а места, которые напоминали о прежней жизни, своим видом не радовали, а только царапали. Проходя мимо Осовиахимовского клуба, где впервые когда-то на танцах поцеловал девушку, Санин отвернулся и ускорил шаг.

Вот на мидовский небоскреб он с интересом посмотрел. Ишь ты. Сколько деньжищ потратили, можно сотню жилых домов построить.

Главное – люди в Москве были какие-то другие. Не такие, как раньше, и не такие, как в других местах. То есть каждый по отдельности вроде обыкновенный, запросто мог бы встретиться и в Калининe, откуда Санин вчера приехал, и в том же Свердловске. А толпа – другая.

Во-первых, очень мало старых шинелей и кителей, в которых уже десять лет, после войны, ходит вся Россия. Самой распространенной обуви, кирзы, почти не видно. Зато много шляп, много нарядных, как из

журнала «Огонек», женщин. И была еще некая странность, которую Санин срисовал не сразу.

По всей стране – в городах, на станциях, в поездах – кишмя кишели слепые, безногие, безрукие, вовсе обрубленные, а в Москве инвалиды практически отсутствовали. Не стучали костылями, не катили на самодельных тележках, не просили милостыню, не продавали поштучно папиросы, не пели под гармошку. Вымерли они тут все, что ли?

Так вышло, что в столице Санин не был с самого тридцать восьмого, после первого ареста. Его тогда этапировали в Саратов, пустили по делу «военно-фашистского заговора» в штабе Волжского округа, где Санин недавно стажировался. Через два года дело почему-то прекратили и всех, кто его вел, пересажали самих. Санин получил свободу, денежное пособие, пришили назад на петлицы сорванные «шпалы», вставил зубы (которые ему потом снова выбьют) и отправился напрямик к новому месту службы, на румынскую границу. В Москву не поехал, потому что было некуда и незачем. Сам после ареста посоветовал жене развестись. Она и развелась. В сороковом году Санин за это на нее обижался, а сейчас, с учетом последующих событий, был за Нину только рад. Такого мужа никому не пожелаешь.

– Алешик! Да Алешик же! – требовательно крикнул сзади женский голос, когда Санин стоял в очереди к киоску на Арбатской площади. – Куда ты смотришь, я здесь!

Санин вздрогнул, вдруг вспомнив, что так же называла его жена. По имени – не то что «Алешиком», а даже просто «Алексеем» – к нему никто не обращался уже много лет. Или по фамилии, или по номеру, блатные в лагере – по кличке.

Медленно обернулся.

Женщина, вся в мелких кудряшках, в пальто с квадратными плечами махала рукой мальчику в беретке.

– Слушаю, гражданин, – нетерпеливо сказали из окошка. – Вам что?

– Я, девушка, ищу двух фронтовых знакомых. Первого звать Беклемишев Илья Гаврилович. Точного года рождения не скажу, лет сорок пять ему сейчас. И еще Берман Ефим Соломонович, ему что-то под сорок. Вот, я написал.

Сунул бумажку.

В списке было восемнадцать имен. Спрашивать в одном месте больше, чем про двоих человек, не стоило, поэтому Санин и составил траекторию через девять адресно-справочных бюро.

До последнего пункта, на Каланчевке, он добрался уже в сумерках. Нисколько не устал. Последний год, уже на бесконвойке, он работал разметчиком вырубного леса – бывало, отмахивал по тайге за день километров по сорок. И ничего. С отвычки – без строя, без вохры, без собачьего лая – было даже в радость.

Поел пельменей в закуской. Когда-то очень их любил, сам лепил, крутил хитрый фарш, а теперь Санину было все равно, что есть. Не посолил, уксусом не полил, горчицей не помазал. Какая разница? Еда и еда. К новым стальным зубам он немного уже привык. В любом случае лучше, чем перетирать голыми деснами.

Результат поиска получился средний. Из восемнадцати человек домашний адрес удалось установить у семерых. И еще предстояло проверить, не полные ли однофамильцы, хотя Петровых-Ивановых-Сидоровых, которых в большом городе тысячи, предусмотрительный Самурай в свой список не включал.

Ну что есть, то есть. Все-таки не с пустыми руками.

Теперь надо было найти подходящее жилье. Не у академика же селить Самурая.

Сначала Санин зашел на Казанский, дал телеграмму в Калинин до востребования: «Отыскал семерых товарищей. Устроюсь вызову».

На вокзал он заглянул еще и потому, что в таком месте всегда трутся людишки, у которых можно добыть то, что не положено. Например, комнату для того, кому в столице находиться запрещено. Ибо, как учил Фридрих Энгельс (а может и не Энгельс, академический курс Санин помнил смутно), страсть к наживе, рудимент частнособственнического инстинкта, будет изжита при социализме не сразу, а постепенно, по мере роста сознательности граждан.

На стоянке такси ждала одна-единственная «победа» с шашечками, за рулем сидел водитель в фуражке, из-под козырька свешивался лихой чуб. Пассажиры с чемоданами, только что прибывшие в Москву, бросались к машине, не веря такому счастью, но шофер показывал на табличку «заказ». Взгляд при этом имел цепкий, ищущий, Санину хорошо знакомый. Такой у всех барыг, арапов, байданщиков и биксовозов.

Немного понаблюдал – точно. Чубатый зарабатывал не извозом. Некоторые подходили к нему, нагибались, что-то негромко говорили. Одному он сунул бутылку водки, другому какой-то сверток, у третьего, наоборот, что-то взял. Купюры туда-сюда так и летали.

Тогда подошел и Санин.

– Браток, мне бы комнату. Хорошо бы с отдельным входом.

Водила оглядел его неказистый наряд.

– А с фонтаном тебе не надо?

– Лаве есть.

Посмотрел на Санина еще раз, уже в глаза. Что-то в них уловил.

– Покажь.

Увидев пачку сотенных, присвистнул. Обшарил глазами в третий раз, теперь сверху донизу. Прищурился, что-то прикидывая.

– Есть одна хаза. Хорошая. И вход отдельный. Но с прицепом.

– С каким прицепом?

– Понимаешь, земля, я не жилбюро, пустые хазы не сдаю. Там бикса. Можешь жить у нее.

– Мне не нужна баба, мне нужна крыша.

Чубатый хохотнул, русая прядь свесилась на глаз.

– Чего, привык на киче без баб гулевать? Это дело твое. Хошь пяль ее, хошь не пяль, но отбашлять придется. Ей жить надо. И мне тоже.

– Сколько? – спросил Санин, подумав, что с женщиной можно договориться напрямую. Приплатить, чтоб на время куда-нибудь отселилась.

Биксовоз (получалось, что именно такова специальность вокзального шустрилы) шмыгнул носом.

– Мне сотку за знакомство и полтос за доставку – я тебя отвезу. И потом ей по две сотки в день, мне по сотке.

Санин ожидал, что он затребует дорожке. Даже удивился.

– Идет. А далеко это?

– Не, в Сокольниках.

Как только Санин сел в машину, водитель вдруг посерьезнел. Больше не ухмылялся, не балагурил, нервно подергивал ноздрей. Переживает, что дешево запросил, подумал Санин.

Уже совсем стемнело. За Мелькомбинатом фонари горели тускло, через один. Дома стали грязными и кривыми, по большей части

двухэтажными и одноэтажными. Такси свернуло в немощный двор, занырало по ухабам, из-под колес летела жидкая грязь.

– Вон там она, Нелька, жительствоет, – показал шофер на два крайних окна в дощатом бараке. – Не «Метрополь», конечно. Нужник вишь во дворе. Зато свое крылечко, как заказывал.

Сойдет, решил Санин, посмотрев вокруг. Двор незамкнутый, без забора – это плюс. Если что, дуй в любую сторону.

– Пойдем, познакомлю. Баба коровистая, есть за что подержаться, тебе понравится.

Поднялись на скрипучее крылечко. Дверь чубатый открыл своим ключом. Крикнул:

– Нелечка, это я! С клиентом!

На лагерном жаргоне «клиент» – слово обидное, обозначающее самую нижнюю, парийную категорию зеков, которые спят в холодном углу, под нарами. Если так назовут – надо сразу бить в рыло.

Стало ясно, что шофер только косит под бластного. «Хаза», «кича», а сам никогда не сидел.

– Проходи вперед, не жмись, – подбодрил провожатый. – Нелька не загрызет. А хошь – погрызет, но это за отдельную плату.

Реготнул, но взгляд напряженный. Надо было Санину заметить это, насторожиться, но расслабился он за последние недели, на гражданке, притупил бдительность.

Вошел в комнату, тесно заставленную мебелью. Всюду расшитые салфеточки, полотенчики, подушечки. Полная женщина в пестром китайском халате отложила шитье и иголку, встала. Поправила крашенные в желтый цвет волосы, растянула красные губы.

– Нелли. А вас как?

Раздвинула халат пошире. Под ним было голое тело, в вырезе колыхнулись большие груди.

Санин вдруг подумал: почему, собственно, нет? Женщины у него не было с довоенного времени. Он был уверен, что никогда больше и не будет. Забыл, как это – обнимать теплое, мягкое, податливое.

Успел сделать три шага.

Сзади скрипнула половица, на темя обрушился удар. Вмазали кастетом, со всего маху. Любому другому раскроили бы череп, но у Санина были исключительно крепкие кости. Его били много, в том числе кастетом, не раз и убивали, а он всё жил. Не умер и теперь, даже

сознания не потерял. Только удивился, почему так близко перед глазами доски пола, покачиваются, словно на волнах.

– Бита, гад! – захлебывался тонкий, истерический голос. – Яж тебе после того раза сказала, я на такое не согласная! Ты обещал!

– Ша, дура. У него пачка соток в банковской упаковке. Может, и еще есть.

Быстрая рука обшарила санинские карманы. Подняла упавший вещмешок.

– Мама моя, ты погляди! Тут сорок кусков! Больше!

Пол качаться перестал. Санин поморгал, чтобы зрение прочистилось. Макушка онемела, боли пока не было.

– Бита, он еще живой. Шевелится... – испуганно сказала женщина.

– Щас перестанет. Не трясись, Нелька, всё чисто будет. И тебе отслюю. Не обижу.

Приблизились две ноги: широкие штанины, заляпанные грязью ботинки. Санин схватил правой рукой левую щиколотку, левой – правую, резко дернул на себя.

Грохот, стук.

Бита рухнул навзничь, приложился затылком об пол, но закричать не успел. Не встав, а лишь приподнявшись, Санин прыгнул на распростертое тело, крепко взял пониже ушей голову с вытаращенными глазами, вывернул. Хрустнуло, и глаза тарашиться перестали.

Громко завизжала проститутка.

– Цыть! – повернулся к ней Санин.

Умолкла.

Женщина попятилась, уперлась в стену, сползла на пол. Пухлое лицо колыхалось, накрашенные ресницы с неестественной быстротой хлопали. Из-под распахнувшегося халата виднелись толстые ноги, розовые кружевные трусы.

Санин подошел, сам на себя удивляясь. Неужели минуту назад он собирался обнимать это мясо? Теплое, мягкое, податливое... Дерьмо тоже теплое, мягкое и податливое.

Передернулся. Женщина тихо заскулила, закрылась ладонями. Ногти сверкали алым лаком.

Нужно было с ней что-то решать.

– Тронешься с места – убью, – сказал он вслух. – Поняла?

Кивнула. Подняла локти в ожидании удара.

Он вышел во двор, осмотрелся. Всё было тихо. Если кто из соседей и слышал крики, тут это в порядке вещей.

Заглянул в уборную. Подергал дощатый настил. Вернулся в дом.

– Вставай. Поможешь. За ноги его бери.

Ухватил труп под мышки. Бикса взяла за лодыжки. Лицо отворачивала.

– С крыльца быстро, – приказал Санин.

Он подобрал в прихожей, около дров, топор, сунул за ремень.

В нужнике несколькими ударами отодрал доски. Перевалил в открывшуюся черную дыру мертвое тело. Спихнул.

Глухой плеск, зловонная волна.

Приладил крышку обратно, подстучал обухом.

До приезда золотарей не найдут, а те раньше весны не появятся.

Что делать с бабой?

Убежать она не пыталась. Стояла, тряслась.

Санин взял ее за плечи, придвинул.

– На меня смотри.

Зажмуренные глаза открылись, уставились на него с ужасом.

– За ним в выгребную яму хочешь? Нет?

Голова мотнула раз, другой и уже не могла остановиться. Санину пришлось шлепнуть ладонью по щеке.

– Тогда так. Сейчас соберешь манатки. И исчезнешь. Хоть слово кому обо мне скажешь – я тебя найду. Раньше чем через две недели не возвращайся. Если, конечно, не хочешь снова со мной встретиться. Тем более я не один буду, с корешом. По сравнению с ним я – киса пушистая. Он тебя живой не отпустил бы. Поняла?

Теперь она начала кивать – не остановишь.

– Тогда идем.

Это не блатная шмара, успокоил себя Санин. Тех по повадке видно. Работала только на Биту, а он тоже не из фартовых. Мелкий упырь-одиночка. Значит, она ни к кому не побежит и никого не приведет.

Ну а если ошибаюсь и приведет, навряд ли московская блатота хуже лагерной. Места в нужнике много, на всех хватит. И потом – не убивать же дуру в самом деле.

Перестал про это думать.

Теперь нужно было избавиться от машины. Ключ из кармана мертвеца Санин вынул.

Последний раз за рулем он сидел в сорок первом, на штабной «эмке», и с «победой» разобрался не сразу. Как включаются фары, так и не сообразил. Но и не надо было. Отогнал недалеко, на пустырь. Ключ оставил в замке, еще и дверцу приоткрыл. В этом шалманистом районе тачка и до утра не достоин. Отгонят, разберут на запчасти.

Когда Санин вернулся в дом, женщина уже исчезла.

Осмотрел хазу.

Печка хреновая, но не такие пока холода, особенно после Сибири. Топить не придется. Главное – крыша над головой.

Можно вызывать Самурая.

Двое из Цюриха

Назавтра Ариадне стало гораздо лучше. Она весь день спала, но в этом не было ничего экстраординарного. А что ничего не поела, так она и в обычное время клевала, как птичка колибри. Такое ощущение, что калорий Ада почти не расходовала и мало в них нуждалась.

Под вечер пришла Епифьева. Антон Маркович растрогался. Нечасто встретишь подобную заботу у нынешних участковых врачей, существующих на мизерную зарплату. Тем более что у Марии Кондратьевны, оказывается, был нерабочий день.

Славная дама никуда не спешила, и Антон Маркович предложил продолжить прерванное чаепитие. Ему почему-то было очень хорошо и спокойно – вероятно, от облегчения, что дочь вне опасности. Все-таки вчера понервничал. Но дело не только в этом. В манере, в голосе Епифьевой было нечто... утешительное – вот верное, хоть и несколько странное слово, пришедшее на ум Клобукову. Так же он себя чувствовал в детстве, когда приходил домашний доктор Илларион Ильич, клал прохладную руку на горячий лоб, говорил: «Ну те-с, сэр, а теперь будем выздоравливать».

– Я вижу, вы работали над рукописью, – сказала Мария Кондратьевна, взглянув на трактат. – Вчера была страница 158, а сегодня 161.

Он действительно, вернувшись после поездки в институт и отпустив соседку, часа два провел в обществе Шопенгауэра.

Вдруг Клобукову захотелось – впервые – рассказать о том, что придавало смысл его жизни, являлось ее тайным стержнем. Тайным не из-за какой-то особенной секретности, а потому что, по глубокому убеждению Антона Марковича, никому кроме него самого это не могло быть интересно.

– Занимаюсь всегдашним блюдом интеллигента-недоучки, – смущенно сказал он. – Пытаюсь разобраться в пресловутых вечных вопросах. Есть ли в жизни какой-то резон, зачем я существую на свете, что такое жить правильно и неправильно. Знаете, доморощенное философствование, всякая тривиальщина, но лично мне помогает навести ясность в некоторых неочевидных вопросах.

– Это и есть самое увлекательное занятие на свете, – кивнула Епифьева. – Разбираться в жизни. В обыкновенной, повседневной. Она захватывающе интересна. А интереснее всего так называемые обычные люди.

– Вы находите? – удивился Клобуков.

– А разве нет? В них столько всего, заслуживающего внимания и изучения! Все эти революции и войны только отвлекают, мешают сосредоточиться на главном. Настоящие приключения – не бои и кровавые драмы, а ежечасное, ежеминутное постижение бытия. Нужно лишь, чтобы кто-то показал и научил – да просто подтолкнул тебя в верном направлении, и жизнь сразу наполнится смыслом, вкусом, азартом.

– Кто же может научить и подтолкнуть?

– В вашем случае, судя по портрету на стене, это Артур Шопенгауэр?

– В определенном смысле – да. Во всяком случае, идея записать свои мысли ко мне пришла, когда я мысленно полемизировал с этим философом.

– А моим Учителем был Карл Юнг.

– Это швейцарский психолог? Я читал о нем. У нас в институте отличный спецхран со всей медицинской периодикой. Но где могли с его работами ознакомиться вы? Ведь в обычных библиотеках иностранных журналов нет?

– Я несколько лет была ассистенткой Карла. В Цюрихе.

– Да что вы!

Клобуков посмотрел на нее с почтением. Сам-то он в Цюрихе был всего лишь студентом.

– Получить полноценное медицинское образование в России женщине тогда было трудно – особенно такой, как я. – Мария Кондратьевна беззаботно похлопала себя по кривому плечу. – Надо было ехать за границу. Я стажировалась в больнице, где герр профессор тогда был клиническим директором. Знаете, в Бургхольцли, в пригороде Цюриха?

– Да, помню.

– Он увлек меня своей идеей «Analytische Psychologie», аналитической психологии. Она так захватила меня, что, когда доктор оставил свой пост, я последовала за ним и почти четыре года помогала

ему в разработке одного из направлений этой новой эмпирической науки. Ах, как всё это было интересно! Я наблюдала, как они с Фрейдом спорили и в конце концов рассорились. Карл считал, что Зигмунд придает слишком много значения сексуальности, но ключ к человеческой личности – вовсе не либидо, а индивидуальные особенности воображения. Конфликтов и всякого рода мелодрам у нас вообще было много. – Епифьева улыбнулась, глядя в пространство. – Мы ведь все были молоды. Карлу, когда я с ним познакомилась, едва исполнилось тридцать пять. Его жене Эмме еще не было тридцати. Главной ассистентке и одновременно любовнице Тони Вольф – едва за двадцать. Господи, как же всё это было чудесно! Столько любви и столько работы ума! Я союзничала с Эммой, потому что той можно было меня не ревновать, с Тони же я враждовала – не из-за амуров (какие со мной амурсы?), а из-за научных разногласий... Сейчас, конечно, я понимаю, что она относилась к эготипу «Р.Н.М.К.У.», «Рационал-Непоседа-Муравей-Креативист-Ученый», и я вела себя с нею совершенно неправильно. Но тогда я ужасно страдала. Считала, что Тони жульнически использует постель, дабы перетянуть патрона в свой лагерь. Она была увлечена теорией «анимы», женской компоненты подсознания, мне же это казалось чушью. Но больше всего, разумеется, доставалось бедному Карлу, который должен был лавировать между женой, возлюбленной и фанатичной ученицей...

Она засмеялась.

– А каким направлением аналитической психологии увлекались тогда вы?

– И тогда, и сейчас. Типизированием человеческих личностей. Патрон находился в самом начале этой грандиозной работы, которая, по его убеждению, будучи доведенной до конца, способна в корне изменить человечество. Я была с этим абсолютно согласна, потому и бесилась, что Тони отвлекает великого мыслителя своими бреднями. У Карла была серьезная проблема с концентрацией внимания, он вечно разбрасывался, увлекался новой идеей, не доведя до конца разработку предыдущей.

– Типизирование личностей – это сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик?

– Ну, так считали во времена Гиппократы и Клавдия Галена. Телоде состоит из четырех элементов – воздуха, воды, огня и земли, и в

каждом из нас преобладает только один элемент, определяющий характер и темперамент. Учение о четырех телесных флюидах. В ком активнее кровь, тот сангвиник. В ком «флегма» – флегматик. В ком «желтая желчь» – холерик. «Черная желчь» – меланхолик. На самом деле всё, конечно, неизмеримо сложнее и намного, намного интересней. Я помогала мэтру лишь в самом начале этого большого пути. Четырнадцатый год навсегда нас разлучил. Мы оказались по разные стороны непреодолимой стены. Я продолжила работу одна, сама по себе, пользуясь теми ограниченными средствами, какие имелись в моем распоряжении. И очень, очень далеко ушла от истоков Юнговой идеи. Продолжил ли он разработку психотипирования и насколько далеко продвинулся, я, увы, не знаю. Может быть, давным-давно увлекся чем-нибудь совсем иным...

– Я что-то читал про юнговскую концепцию «архетипов», – вспомнил Антон Маркович, – но не углублялся. Это не входит в сферу моих интересов.

– Ах, как бы я хотела узнать про это! – воскликнула Мария Кондратьевна. – Карл наверняка достиг гораздо большего, чем я со своей жалкой картотекой! Хотя если бы теория была всесторонне разработана и внедрена, человечество уже сегодня было бы иным. Нет, непохоже, что Карл осуществил свою мечту...

– Да в чем состоит эта мечта? – спросил заинтригованный Клобуков. – Расскажите же. И о какой картотеке вы говорите?

– Суть идеи заключалась в том, чтобы помочь каждому человеку понять самого себя. Ведь большинство несложившихся, несчастливых жизней получаются таковыми, потому что человек берется за дела, к которым не имеет способностей, связывает свою судьбу с тем, кто ему категорически противопоказан, постоянно принимает ошибочные решения, и так далее, и так далее. Тычется, как слепой, и не находит двери – только стены, о которые он набивает себе шишки. Патрон говорил, что, конечно, каждая личность индивидуальна и неповторима, однако все или почти все люди подразделяются на группы, обладающие сходными чертами. Чем дольше живешь на свете, тем чаще встречаешь людей, так сказать, «повторяющихся» – ты таких или очень похожих уже видал прежде. Это потому что они принадлежат к одной и той же группе. Групп, разумеется, не четыре, а много больше, и флегма с желчью тут совершенно ни при чем. Всё гораздо интересней.

– Говорите же, говорите, – попросил Антон Маркович, потому что рассказчица замолчала.

– Пожалуй, лучше зайду с другой стороны. Жизнь человека определяется двумя факторами. Во-первых, внешними обстоятельствами. Во-вторых, нашим собственным поведением. Внешние обстоятельства как правило от нас не зависят, но над собственными поступками мы более или менее властны. (На самом деле человек, который хорошо себя понимает и не делает ошибок, в значительной степени контролирует и внешние обстоятельства – умеет использовать открывающиеся шансы и уклоняться от потенциальных опасностей). Генеральная идея концепции состоит в том, что, вооружив человека самым главным жизненным знанием – знанием себя, – можно сделать его лично счастливым и максимально полезным для общества. Собственно, к тысяча девятьсот четырнадцатому году дальше общей концепции мы и не продвинулись. Я собирала материал для последующей обработки – опрашивала респондентов, чтобы установить механизм связи сознания с подсознанием. Куда после этого двинулся Карл, я не знаю. Подозреваю, что в исследование подсознания. Меня же больше интересовала задача сугубо практическая: помогать людям. Оставшись одна, я поставила перед собой задачу сформировать полный список типических групп, на которые делятся люди. Я назвала эти группы «эготипами». Судя по тому, что вы мне сказали, Юнг пришел к похожему термину «архетип», но, может быть, он имеет в виду нечто иное. Сейчас я умею выделять шестьдесят четыре эготипа по шести разным категориям людей, в зависимости от пола и возраста. То есть всего эготипов получается сто девяносто два. Если вам интересно, я потом когда-нибудь расскажу о них подробно.

– Конечно, интересно!

– Но определить эготип – только половина дела. Закончив эту работу, анализатор должен дать человеку точные рекомендации: по жизненной стратегии, по выбору профессии, по выстраиванию личных отношений, и прочее. В дальнейшем, при любой сложной ситуации, к анализатору можно будет обратиться за консультацией: делать мне это или не делать, выбрать то или это? В зависимости от «эгохимической формулы» объекта анализатор с уверенностью ответит: вот это у вас получится, а вот это – ни за что и никогда. Разработанную систему я

назвала «Эгохимия», потому что она как бы определяет химический состав каждого «эго». А метод типизирования я называю «эгохимическим анализом». Хотя, конечно, – рассмеялась Мария Кондратьевна, – правильнее было бы назвать мое волхование «эгоалхимией», потому что это псевдонаука, да и главная цель абсолютно алхимическая – произвести волшебную трансмутацию, превратить всякую человеческую жизнь в золото.

– Это очень красивая идея, но утопическая, – сказал Клобуков. – На свете много плохих и даже отвратительных людей. В золото вы их никакой алхимией не превратите.

– Плохих людей не бывает. Как и плохих качеств. Каждое без исключения природное качество может оказаться хорошим, если им правильно пользоваться, и плохим – если неправильно. Так называемые «плохие люди» – те, кто не научился правильно пользоваться своими природными характеристиками. Это делает индивида неприятным, а то и опасным для окружающих.

– Погодите, но есть ведь люди жестокосердные, вероломные, бесстыдные, бессовестные!

– Да, есть – с поправкой на негативный окрас подобных терминов. Все эти качества ситуативны, то есть в зависимости от ситуации могут быть и плохими, и хорошими. Нужно не бороться с врожденными свойствами, а научиться использовать их во благо.

– Помилуйте, какое благо от жестокости? От бесстыдства? И как может быть скверной доброта?

– Ну, представьте себе хирурга, у которого по доброте сердечной задрожит в руке скальпель. Хирург должен не ведать жалости, она в его ремесле опасна. И мало какой женщине понравится стыдливый любовник.

– Не согласен я с такой химией! Есть вещи, которые прекрасны всегда. Как может быть плохой – не знаю – любовь к человечеству? – воскликнул Антон Маркович.

– Еще как может. Представьте себе, что вы женились, а жена любит человечество больше, чем вас. Это будет очень плохая жена, она сделает вас несчастным.

Епифьева наклонила голову, с удовольствием наблюдая за разгорячившимся собеседником.

– Вас раздражает слово «химия» применительно к людям? Ну, пускай будет не «эгохимия», а «эгография» – составление географической карты личности. У нее ведь есть свои возвышенности и низины, пустыни и оазисы. Но собственную карту мало кто знает. Поэтому человек то забредает в болото, то тонет в пучине, то ломает себе кости в овраге. Задача анализатора – помочь человеку составить карту самого себя.

– А как вы это делаете?

– При помощи тестов. Они выстроены по определенной системе. В законченном виде «эгохимическая формула» представляет собой набор доминирующих характеристик с процентовкой – ибо в жизни мало кто на сто процентов обладает тем или иным качеством, мы почти все гибриды и метисы. Когда-то вначале я представляла себе человека в виде сейфа, к которому нужно подобрать правильные цифры, чтобы он открылся. Знаете, я ведь дочь криминалиста. Мой отец служил в уголовной полиции. Рассказывал массу колоритных историй про мастеров преступного мира – взломщиков, «мойщиков», «хипесников», «гопстопников», «варшаверов». Я запомнила, что самая высшая воровская специальность – «медвежатники», которые умеют вскрывать сейфы, на уголовном аргоне сейф – «медведь». Видно, мне на роду было написано стать медвежатницей. У меня есть многолетняя привычка, почти obsессия. Стоит завязаться беседе с человеком, и я сразу начинаю подбирать цифры его сейфового замка. Мне это очень интересно. Я разработала систему вопросов, которые звучат совершенно естественно. Такой блиц-тест. Исследуемый объект даже не догадывается, что его исследуют. И через несколько минут я уже понимаю, с кем имею дело. Очень приблизительно, конечно. Блиц – это не полноценное тестирование. Оно-то требует времени и специальной подготовки. Я и вас вчера, естественно, подвергла блиц-тестированию, – как ни в чем не бывало призналась Епифьева.

– Правда? – изумился Антон Маркович. – Я не заметил. Когда же?

– Помните, я вела запись? – Она достала книжечку. – Блиц-тесту должна предшествовать увертюра, располагающая респондента к откровенности. У меня в силу большого опыта очень хорошая визуальная преддиагностика – обычно я в первую же минуту составляю общее впечатление о человеке и почти никогда не ошибаюсь. Это нужно для выбора правильной увертюры. У субъекта, обладающего

признаками эгоцентризма (это всегда видно по выражению лица, посадке головы, мимике), нужно создать впечатление, что разговор с вами ему или ей зачем-то нужен. К людям эмпатической внешности (их тем более видно) лучше всего обратиться за какой-нибудь помощью. Вы – интроверт. Чтобы это определить, особенной проницательности не потребовалось. Интровертов разговаривать трудно, но сама ситуация – визит врача к больной дочери – послужила превосходной увертюрой. Блиц, как и полноценный тест, состоит из шести этапов. На первом нужно определить, эмоционал или рационал твой собеседник. Здесь три вопроса. Первый – на общее восприятие жизни. Помните, я сказала: «Бедный ребенок. Как же это ее угораздило так простудиться?». Эмоционал сконцентрировался бы на первой части – стал бы жалеть бедняжку. Вы же сразу начали отвечать на вопрос. Я пометила себе: «рационал». Потом нужно было посмотреть, как вы оцениваете окружающих – эмоционально или рационально. Пригодился невоспитанный санитар. Вы нашли оправдание его хамству: посочувствовали больной печени. Сочетание сочувствия с рациональным объяснением – это «рациоэмпатия». Вот, у меня записано. Наконец, третий вопрос начального этапа касается самооценки. Я выразила сомнение, справитесь ли вы с уходом за дочерью. Вы ответили опять рационально: кое-какой опыт у вас есть, а при необходимости вы обратитесь за профессиональной помощью. Эмоционал воскликнул бы: «Что за разговор! Это же моя родная дочь!». Общий итог получился, по приблизительной оценке, 75 % рационала и 25 % эмоционала, примерно так.

Антон Маркович только головой покачал.

– Я и не догадывался, что я подопытный кролик. Нет-нет, продолжайте, пожалуйста. Я не в претензии, просто непривычно чувствовать себя объектом исследования.

– Второй этап – понять, кто перед тобой: «креативист» или «исполнитель». Это следующее по важности разветвление для рационалов. У эмоционалов иная развилка. Первый вопрос для «рационала» – на критичность мышления. Я сказала, что рекомендуется делать при тяжелой пневмонии. «Мало ли что рекомендуется?» – ответили вы, что для медика, согласитесь необычно. Я пометила «неконвенционал» – это один из признаков «креативиста», но для вердикта недостаточно. Второй вопрос – на способность с ходу

изобретать какой-то собственный алгоритм решения проблемы, а не следовать чужому опыту. Я сказала, что болезнь для Ады – нарушение рутины и в ее состоянии это может стать стрессом. Вы немедленно придумали восстановить детскую память через чтение вслух Пушкина. Явный «креативист». Но надо было еще уточнить, до какой степени ваш креативизм реалистичен. Часто встречаются выдумщики и прожектеры, которые изобретут что-нибудь или вовсе неосуществимое, или такое, с чем они неспособны справиться. Это, например, эготип «Манилов»: Э.И.К.М.К.П. («эмоционал-искатель-креативист-махаяна-корсар-папильон»). Не буду сейчас объяснять все эти термины, чтобы вы не запутались. Останемся в рамках вчерашнего диалога. Я спросила: а что делать, если все же начнется панический припадок? Это вопрос на конструктивность. Вы предложили не одно, а три решения, все дельные. У меня записано, что вы стопроцентный «креативист».

– А дальше что было? – наморщил лоб Клобуков, пытаюсь вспомнить ход вчерашнего разговора, открывавшегося в совершенно новом свете.

– Я протестировала вас на тип креативизма – он бывает творческим и акционерским.

– А «творческий креативизм» – это не масло масленое?

– Ни в коем случае. Творческий креативист направляет энергию своего воображения в искусство или в науку. Но есть креативисты, которые творят нечто неординарное в жизни, и это совсем, совсем другая история. Вы, разумеется, оказались творческим креативистом. Приключения в реальной жизни вроде подделки подписи и конфликтных ситуаций вас не привлекли. Сложнее оказалось определить, каков ваш творческий вектор – артистический или научный. У меня возникло подозрение, что несмотря на академические успехи по призванию вы все-таки «артист», и тогда получается, что вы выбрали не тот путь в жизни. Этот пункт для меня так и остался непроясненным. Я уверилась, что без полного теста в вашем случае не обойтись, и последние два этапа – на профессионализм, то есть деловые качества, и на «махаяну-хинаяну», то есть на общественный темперамент, провела довольно халтурно. В конце у меня записано: «Нужно полное тестирование». Рассказать, что это такое?

– Конечно! Только... – Клобуков взглянул на часы. – Мне нужно сделать один звонок. Я был приглашен сегодня на важное событие к

одному старинному знакомому. Несколько раз звонил, хотел предупредить, что из-за болезни дочери прийти не смогу, но никак не мог застать. Попробую еще раз.

– Зачем отказываться от чего-то важного? Идите. Я посижу с вашей дочерью сколько нужно. Мне торопиться некуда.

– Да что вы! Как можно! – опешил Антон Маркович. – Огромное спасибо, но это совершенно невыносимо. К тому же мне не очень-то и хочется. Там совсем чуждая для меня среда. Просто Филипп Панкратович очень просил, не хотелось обижать человека, которому я многим обязан. Но теперь у меня уважительная причина.

– Не нужно никого обижать, а уж особенно тех, кому обязан. Ступайте-ступайте.

– Спасибо за предложение, но если Ада проснется, она испугается...

– Увидев страшную горбунью? – засмеялась Епифьева.

– Увидев незнакомое лицо.

– Об этом не беспокойтесь. Я умею налаживать контакт с любым человеком, тем более с таким, который живет внутри собственной вселенной. Насколько я поняла, это случай Ариадны. Я в свое время занималась такими людьми, они ни к одному из «эготипов» не относятся. Своего рода загадка.

Тон был уверенный, и Клобуков сразу поверил поразительной даме. Подумалось: если Ада научится общаться еще с кем-то кроме меня и черепахи, это будет настоящая революция.

– Хорошо. Я буду звонить каждые полчаса. Если что – сразу приеду... Но как мне вас отблагодарить? Деньги предлагать я не посмею, но...

Он на всякий случай сделал маленькую паузу. Старой женщине-инвалиду, подрабатывающей и в поликлинике, и в «скорой помощи», лишние деньги не помешают.

– Денег у меня много, – махнула сухонькой ручкой Епифьева. – Я продолжаю работать врачом не из-за зарплаты, а чтобы видеть побольше разных людей. Это требуется для моего главного дела. А отблагодарить вы меня очень даже можете. Во-первых, мне бы почитать западные журналы по психологии. Это можно как-нибудь устроить?

– Конечно! – ужасно обрадовался Клобуков. – Как членкор я даже могу их брать из спецхрана домой. У нас лучший в стране подбор

литературы по медицине и смежным областям. Наш директор человек с большими связями, он, как это называется, «пробил валюту» на подписку.

– И я наконец узнаю, чего за эти сорок лет добился Карл! – взволнованно воскликнула Мария Кондратьевна. – Какое счастье! Я буду очень, очень вам благодарна!

– Ну что вы, это пустяк. Вы сказали «во-первых». А что я могу еще сделать для вас?

Она вкрадчиво улыбнулась.

– Пройти полный тест. По всей форме. Это потребует часа два, а то и три.

– Можете на меня рассчитывать, – без колебаний согласился он. – Как устроен тест? Что мне придется делать?

– Тест не совсем обычный – не такой, какие мы с Карлом проводили когда-то. Обычно ведь как? Список стандартных вопросов, и респондент выбирает вариант ответа. В этой системе два больших минуса. Во-первых, в ней нет наведения на фокус, последовательного уточнения диагноза. Мой метод после каждого этапа делает поворот в направлении, которое обусловлено предыдущими ответами, и отсекает все прочие варианты. Это позволяет постепенно сужать зону поиска и в конце прийти к одному из 64 эготипов. Второй минус, что, отвечая на вопросы, скажем, о своих страхах, симпатиях, антипатиях, предпочтениях и прочем, респондент часто бывает некорректен. Кто-то неправильно себя оценивает, кто-то рисуется или интересничает, кто-то стыдится написать правду. Всё это приводит к искажениям, а они недопустимы.

– Как же этого избежать?

– Я не даю респонденту анкету. Я вовлекаю его в некий фантазийный мир, и человек как бы становится главным героем повести. Только не читает ее, а воздействует на сюжет. Все время приходится делать выбор, совершать или не совершать какие-то поступки. В юности я мечтала стать писательницей, и таким вот манером осуществляю эту амбицию. – Епифьева смущенно улыбнулась. – Сочиняю литературу на заказ, по фигуре. Потому что респондента нужно увлечь, люди ведь разные. Для каждого человека я придумываю свою историю, в зависимости от того, что я о данном объекте уже знаю. Принцип следующий. Я описываю ситуацию и

спрашиваю, как бы человек поступил. В зависимости от ответа сюжет поворачивает в ту или другую сторону. Все возможные разветвления у меня заранее предусмотрены. Я регистрирую выбор, подсчитываю промежуточные проценты и так, шаг за шагом, двигаюсь к результату. Делаю это я уже тридцать лет, у меня в картотеке несколько тысяч таких тестовых повестей.

Феноменально, подумал Антон Маркович. Все эти страшные годы она терпеливо и бережно пыталась разобраться в тончайших нюансах душевного устройства отдельных людей – а тем временем двадцатый век пихал их в свою мясорубку миллионами, без счета и разбора.

– Тестовая система не одна, – продолжала Мария Кондратьевна. – Их шесть. Во-первых, есть разделение по полу. Не только потому что у мужчин и женщин разная физиология, но и потому, что в современном обществе их по-разному воспитывают, по-разному социально детерминируют. Несколько раз мне, правда, встречались индивиды, которые не укладывались в стандартную половую классификацию: две женщины мыслили и функционировали по абсолютно мужским шаблонам, и был один мужчина, театральный гример, который попросил, чтобы я его тестировала как женщину. Когда-нибудь мои последователи – если у меня будут последователи, – невесело усмехнулась она, – разработают методику и для таких людей. Мне же дай бог времени разобраться с большинством.

– Итак, у вас есть тест для мужчин и для женщин. А какие еще градации?

– Возрастные. Человек проходит через три жизненных этапа, сильно отличающиеся один от другого. Поэтому результат и рекомендации тоже будут разными. В моей терминологии молодой возраст – это «Утро», середина жизни – «День», поздняя пора – «Вечер». Последний я обычно отсчитываю у женщин с начала менопаузы, у мужчин – с выхода на пенсию, опять-таки из-за социального фона, при котором женщины в основном ориентированы на личное, а мужчины на общественное. Но для женщин, у которых профессиональная деятельность – главное (в СССР таких немало), я, разумеется, делаю соответствующую коррекцию.

– А в чем принципиальная разница между возрастными в психологическом отношении? Мне интересно знать, как вы это учитываете при тестировании.

– Полный жизненный цикл (я не беру детство) – это не один человек, а три. Потому что очень сильно меняются приоритеты, мотивации, возможности – почти всё. Человек-1, то есть юноша или девушка, в первую очередь существо гормонально активное. С этого и следует начинать тестирование. Человек-2, то есть зрелый мужчина и зрелая женщина, определяется прежде всего по параметру активного или пассивного восприятия окружающего мира. Мышление и поведение Человека-3, старика, очень зависит от состояния здоровья. При этом оба пола в пожилом возрасте сближаются – из-за стирания гормонально-поведенческой специфики и сходства в социальном – пенсионном – существовании. Поэтому тестирование практически не отличается – разве что в деталях... Вы меня останавливайте, – сбилась рассказчица, виновато поглядев на Антона Марковича, – а то я как сяду на своего конька – сойду нескоро.

– Ну что вы! Это захватывающе интересно! Вы говорите, говорите. Раз мне не нужно звонить Филиппу Панкратовичу, прерываться незачем.

– О чем я? О женщинах и мужчинах? Тут вот что примечательно. Я предполагаю, что в неотдаленном будущем деление тестов по половому признаку может исчезнуть. Уже в наше время социальная функция женщины сильно изменилась. Из-за геноцида мужского населения в ходе двух мировых войн так называемый «слабый пол» был вынужден стать сильным, то есть в основной своей массе начал работать. По той же причине очень сократилось среднее количество детей в семье. Наконец, что очень важно, меняется и будет меняться сексуальная пассивность, навязываемая женщине прежним строем жизни. Женщины перестанут стесняться своей природы, станут вести себя смелее и активнее – по-мужски, если воспользоваться современными стереотипами. Но градация на три жизненных периода никуда не денется, просто она модифицируется. Когда в двадцатые годы я выстраивала свою теорию, я назвала три женских возраста «Невеста», «Жена» и «Мать», а три мужских – «Аспирант» (от слова «аспирация», стремление), «Хозяин» (поскольку это возраст максимального управления собой) и «Аксакал». Самые недоисследованные категории – «Мать» и «Аксакал». Старость вообще настоящая Terra incognita. Пожилые люди мало кому интересны, поскольку от общества им вроде бы нет практической пользы, они – обуза. Это психологически давит на

Человека-3, парализует его возможности к развитию, заставляет концентрироваться на негативных сторонах старения и мешает пользоваться его позитивными сторонами. На самом же деле в нашем мире, полном опасностей, несовершенств и лишений, дожить до старости – большое везение. Очень глупо и горько, что люди совсем не умеют пользоваться этой удачей. Поэтому я особенно охотно работаю со стариками. Я могу им помочь еще больше, чем молодым.

– А я по вашей шкале – «День» или уже «Вечер»? – с любопытством спросил Антон Маркович. – Мне скоро пятьдесят девять, возраст почтенный. С гормональной активностью покончено. Голова, как видите, почти совсем седая. Внутренне я себя ощущаю на все восемьдесят.

– Вы, конечно, «День», Человек-2, потому что находитесь в расцвете профессиональной деятельности.

– И как же вы намерены меня препарировать? Какую повесть вы для меня придумаете? Наверное, что-нибудь медицинское?

Епифьева, склонив голову, с полминуты на него смотрела.

– ...Нет. Для вас нужно что-то выходящее за рамки обыденности. Есть у меня одна разработка как раз для таких случаев. Нужно лишь ее модифицировать. Сейчас вы уйдете, и я с большой охотой займусь сочинительством. Это самая увлекательная часть моей работы. Вы позволите мне попользоваться энциклопедией и этим вашим агрегатом?

Она показала на «ундервуд», который Клобуков использовал для перепечатки готовых глав своего трактата.

– Конечно. Вы остаетесь здесь полной хозяйкой. А сколько времени вы будете готовить тест?

– Весь вечер сегодня. Завтра воскресенье, послезавтра у меня свободный день... Этого хватит. Сможете прийти ко мне вечером? Я живу недалеко, минутах в пятнадцати пешком.

– В понедельник? Да, после работы.

– Вот и отлично.

«Красный мак»

Готовясь к банкету, Филипп Панкратович Бляхин оглядывал себя в зеркале. Сняв домашнюю полосатую пижаму, он надел парадный китель с золотыми погонами, брюки со стрелками, сапоги хром и в первую минуту очень себе понравился. Пузенцо, нарощее за последние годы, в фас было особо не видно. Но потом приблизил лицо, чтобы проверить, чисто ли побрился – и расстроился. Эхе-хе, жизнь-то идет на закат. Брыли висят, под глазами набрякло, от волосьев уцелел только венчик. И здоровье не ахти. Сердчишко пошаливает, подорванное нервной работой, малость подвигаешься – одышка, а еще простатит будь он неладен. Были когда-то и мы рысаками, да все вышли. А еще холода скоро. Раньше-то морозы были нипочем, только щеки румянились, и никогда не простывал, а теперь каждую зиму то грипп, то простуда – вынь да положь.

Так ведь и лет уже сколько. На следующий год стукнет шестьдесят, это ж подумать страшно. В прежние времена, до революции, был бы старый старик, если дожил бы. А сейчас поглядеть на себя непристально, через ресницы – представительный мужчина, не слишком даже и пожилой. Мы еще многое можем, подбодрил себя Бляхин, и много чего от жизни получим. Потому что заслужили и положение есть.

Подошла жена Ева Аркадьевна, поправила ворот-стойку. Сказала:

– Орел ты мой. Гляди только, Филя, много не пей. Про здоровье помни.

– Когда я много пил? – Бляхин дернул красивым плечом, чтоб убрала руку, не мешала. – Нашла пьянчугу.

Это правда, вином он никогда не увлекался. Пил только за компанию. Крякал громко, но до дна не осушал и всегда закусывал.

– «Мальчишник» есть «мальчишник». Не захочешь – вольют. Опять же ты хозяин, с каждым чокнись, – вздохнула супруга. – Забыл, как после майских давлением маялся?

Но отошла, липнуть не стала. Жена у Бляхина была сносная. Другая бы надулась, что такой день, а ее не зовут, но Ева на мужа никогда не ворчала. В молодости меж ними бывало всякое, но с тех пор много воды утекло, с годами семейный лад только крепчал.

Сожительствовали, можно сказать, душа в душу. На возрасте Филиппа Панкратовича стало клонить на философию – не в смысле почитать, а в смысле самому умное подумать. Рассудилось, что муж с женой трутся, как две деревяшки. Пока молодые, занозистые, друг об дружку обдираются, может и пожар проистечь – как у древних людей, которые добывали огонь трением. Но годы полируют и шлифуют обоих. Гладенько становится, легко.

«Мальчишники» завел прежний начальник генерал Лебедюк. Чтоб за накрытым столом можно было про служебное, секретное говорить без женских ушей. Ну и Филипп, чей сегодня праздник, решил традицию не ломать. Во-первых, можно на сладкие вина с ликерами не тратиться, а во-вторых, Ева не такая уж Клара Лучко, чтоб ее всем демонстрировать. Когда-то была очень даже ничего, а теперь всей красы – золотые зубы да перманентные кудряшки. А надо было вечером себя в наилучшем виде представить. Ведь какой день! Завершение большущего пути.

Погордиться было чем. Не зря Филипп Бляхин бедовал, страдничал, недосыпал, нервы себе трепал, а бывало что и по краешку гибели проходил.

Когда еще оглянуться назад, да погордиться, если не сегодня?

Мог ли мечтать байстрюк без отчества, мышь подворотная, что станет таким человеком? Полковником, да не простым, а государственной безопасности! Это как при царе полковник лейб-гвардии. Как минимум. Для них – для таких, как беспородный, беспортошный Филька, революцию и делали. Кто был ничем, тот стал всем.

Скрипя голенищами, но не стуча каблуками (по полу расстилались ковры), Филипп Панкратович прошелся по квартире.

Везде, во всех комнатах, было красиво.

После войны Бляхин годик очень хорошо послужил в Германии. Обеспечил себя предметами длительного пользования. Вот, например, сейчас надо было банкет устраивать. Снесла Ева в комиссионку хрустальную вазу да фарфоровый сервиз (все равно он без толку в буфете стоял, ни разу не воспользовались), получила на руки 6510 рублей – и на приличный стол хватит, и еще останется.

В Германии Филипп Панкратович был и.о. начотдела в Управлении по репатриации – генеральская между прочим должность. Особняк

имел, персональный «опель-адмирал», даже прислугу. Когда вернулись в квартиру на улице Кирова, Ева аж разревелась – тесно показалось. Хотя квартирка очень даже ничего, три комнаты на двоих: спальня, столовая, кабинет. Раньше кабинет был одно название, стоял пустой, Ева в нем развешивала белье сушить. А теперь, глядишь, пригодится.

Тогда, в сорок шестом, Бляхин сильно переживал, что припозднился с возвращением. Все видные места были разобраны, пришлось возвращаться на довоенную службу в занюханном Хозуправлении. Но оказалось, что это была великая удача и даже спасение. Два раза министерство перетряхивали: в пятьдесят первом, когда Абакумов полетел, и в пятьдесят третьем, когда разоблачили Берию. Сколько ушлых-успешных сгорело! А Филипп Бляхин ничего. Тихо-мирно досидел до заслуженного отдыха. Что не вырос, десять лет промариновался в подполковниках, так не он один – после войны из-за перекомплекта звания всем давать перестали.

А все ж таки подполковник – чин стыдноватый. В старинные времена их «полуполковниками» называли, в советские еще хуже – «недополковниками». Это еще одна причина, по которой Филипп Панкратович принял предложение досрочно уйти на пенсию. За то, что место освободил, наконец дали на прощание третью звезду. Оно и звучит музыкой – полковник, и денег больше, и в другую категорию по продовольственным заказам и прочему обеспечению попадаешь. А что зря штаны просиживать? Генеральские лампасы на них все равно уже не высидишь.

И еще одну выгоду получил Бляхин за рапорт о досрочной отставке. Уходил он не вчистую, рыбу на речке ловить, а назначался на общественных началах членом комиссии по реабилитации и пересмотру. Как ветеран органов, служивший еще при товарище Дзержинском, и чекист с чистыми руками, не замаранными участием в ежовщине и бериевщине. Это большая редкость, по ней и доверие.

Помогло еще и то, что в конце войны Филипп Панкратович служил по линии ОПФЛ, Отдела проверочно-фильтрационных лагерей, разбирался с бывшими военнопленными. Приобрел большой опыт. И сейчас в комиссии ему предстояло заседать по тому же профилю, проверять дела пособников в свете указа семнадцать ноль девять – не было ли перегибов. Конечно были, как не быть. План надо было исполнять. Попробуй только слабину дать – припаяли бы политическое

верхоглядство, и это еще в лучшем случае. Теперь-то ветер в другую сторону задул. Что ж, им там наверху видней. Как шутят в комиссии, «сама зеков я садила, сама буду выпускать».

В свой домашний кабинет, где Бляхин в новой жизни собирался заниматься этой общественной работой, пускай бесплатной, но ответственной, он сейчас заглядывать не стал. Там временно поселились Серафим с семьей, приехали погостить.

Сын у Филиппа Панкратовича был исключительно удачный. Пошел по стопам родителя, и уже было ясно, что продвинется дальше и, может быть, даже намного дальше. А почему? Потому что папаня в свое время позаботился, устроил в коминтерновский интернат. Там Сима вырос с детишками тельмановцев, и на немецком шпрехал, как на родном. Потому и служил теперь в ГДР, обеспечивал связь с товарищами из тамошних органов. Ценный получился кадр, уже капитан – по нынешнему мирному времени для десяти лет выслуги очень неплохо. Опять же длительная заграникомандировка, приличное матобеспечение, всякие дела высокого полета. К примеру, Серафим участвовал в подготовке Варшавского договора, нашего ответа ихнему НАТО. Много про это не рассказывал, не имел права, но он и сейчас в Москву прилетел, сопровождая какого-то большого гэдээровского генерала. Невестка с внуком отдельно прибыли, по железной дороге.

Сын вышел из кабинета сам, в заграничном пиджаке, синем галстуке с блестящей заколкой. Он военной формы обычно не носил, не рекомендовалось, но держал марку – одевался с иголочки.

– Едем, пап? Проведем смотр? Ты не волнуйся, всё будет по люксу. Гляди, чего я припас. На генеральский конец стола поставишь. Французский коньяк. За валюту в западном секторе купил.

Показал невозможной красоты бутылку.

Филипп Панкратович растрогался. Проявил заботу сынок, сознает важность мероприятия.

Симка подмигнул:

– Нонка тебе тоже подарок приготовила. Выпросила у тестя «ЗиМ» на езду туда-сюда. Сейчас позвоню – приедет из спецгаража. У тебя такой день, что пешком ходить зазорно. Покатишь, как министр.

– Золото у тебя жена, – еще пуще расчувствовался Бляхин. – Я войду, спасибо скажу?

– После. Она там в бигудях.

– Спасибо, Нонночка! – крикнул тогда Филипп Панкратович через дверь.

Вот кого бы гостям показать, так это невестку. Они с Серафимом пара – как из заграничного кино.

И пришла в умную бляхинскую голову идея.

Сейчас можно и пешком пройтись. Все равно никто из нужных людей «ЗиМа» не увидит, ресторан-то пока пустой.

– Давай лучше вот как сделаем. Днем такую машину гонять незачем, у ней поважнее ездки найдутся. А вот если бы вечером, часиков в двенадцать, когда гости станут собираться, Нонночка за нами бы туда заехала на папином автомобиле... А?

Сын понимающе кивнул.

– Дельно. Устроим.

Пускай начальники полюбуются, какая у меня невестка, во всем заграничном, подумал Филипп Панкратович. А буду знакомить – скажу, чья она дочка.

Ноннин родитель в свое время был в Германии зампредом госкомиссии по репарациям, а сейчас вырос в замминистры. Умнейший человек. На свадьбе, малость выпивши, разговорился с почтительно слушавшим сватом, очень мудрую вещь сказал. Я, говорит, всю жизнь при ком-то замом, и с этой позиции меня не собьешь. Кто, говорит, в первачи рвется, рано или поздно себе шею сворачивает, вторым номером оно надежней.

Оделись: у Бляхина шинель хорошего сукна, сшитая на заказ, у Симы кожаный реглан большой красоты. Жалко, приказа о переходе на зимнюю форму пока не было, а то бы заместо фуражки новую мерлушковую папаху надеть, полковничью. У сына на голове фетровая шляпа. Шли по тротуару – прохожие поглядывали уважительно.

Пройтись было хорошо еще и чтоб спокойно, наедине, по-мужски поговорить. Дома у баб ушки на макушке, а им не всё знать надо.

Очень хотелось Филиппу Панкратовичу поделиться большими мыслями, которые сыну в жизни помогут.

Начал немного конфузяться:

– Я, Симка, на старости лет философ сделался. Философия, настоящая философия, она ведь не для форсу придумана, а для того, чтобы человеку подсказывать, как ему жить.

– Ну, и чего она тебе подсказала? – спросил Серафим, глядя на отца с веселым удивлением.

– Ты не ухмыляйся. Я тебе важную штуку скажу. Как я есть человек, поживший на свете и много чего повидавший. Да в какие времена! Ох, в какие времена...

Бляхин на всякий случай понизил голос, хотя кто на улице подслушает?

– Времена – они бывают разные. Есть время взлетать, как было в двадцатые. Есть время не падать, как в тридцатые. Время не гикнуться, как в сороковые. И я по всем этим бешеным горкам протресся, чудом не сорвался. Сначала взлетел, хоть и не шибко высоко. Потом опустился, но тоже не очень низко. В войну – сам знаешь, вместе служили. Оба живы остались, и ты, и я. Даже ни разу под бомбежку не попали. А теперь настали времена другие. Хорошие времена, нестрашные. Повезло тебе, Серафим. Наше государство остепенилось, в солидный возраст вошло, сорок лет ему скоро. Теперь всё плавно будет, спокойно. Не взлетишь, но и не расшибешься – если дров не наломать. Ты-то не наломаешь, я знаю. Высоко не меть, цель на следующую ступеньку. Свое место знай, но и момента не упускай. Так, шаг за шагом, и вскарабкаешься по всей лестнице. Без страха, без жути – не то что раньше.

Сын уже не улыбался, слушал серьезно.

Очень хорошо поговорили, душевно. Бляхин не заметил, как до Столешникова дошли.

Хотел он для праздника забронировать «Арагви», чтоб всё по первому разряду, но сын отсоветовал. Сказал: «Понимающие люди к грузинской кухне сейчас поостыли». И ничего прибавлять не стал, потому что разговор был по международному телефону, но Бляхин не дурак, понял. Заказал кафе «Красный мак», оно кстати и подешевле вышло.

Директор, узнав, для кого банкет, расстарался. И дефицитом обеспечил по госцене, и предложил особую услугу: напечатать в типографии специальное меню. На одной стороне крупно «ПРОВОДЫ Ф.П. БЛЯХИНА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ», число, год. Потом перечень блюд – ставь галочку какое понравится. Шашлык, цыпленок табака, судак по-польски, фляки и зразы. На обороте – реклама заведения. Солидно. И память останется.

Сейчас надо было распорядится насчет закуски – ее накроют сразу. И очень важное: расставить таблички с именами кому куда садиться. Филипп Панкратович сам их писал, почерк у него был красивый, дореволюционный. Сначала, конечно, долго продумывал географию. Дело тонкое и даже стратегическое.

Немножко поспорили с Симкой, и Бляхин во всех случаях уступил. Сын у него был с дипломатическим талантом.

Проинструктировал официанток. Одной велел ни на шаг не отходить. «Буду доволен – не обижу, – сказал. – Заберешь домой что останется, а останется много. Если же будешь ворон ловить, с работы вылетишь. У меня это запросто». С кадрами только так и следует: стимулирование и острастка друг без дружки работают плохо.

К семи часам, когда начали прибывать первые гости, всё было в полном ажуре. Не стол – заглядение. Картинка из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Люди все военные, пришли без опозданий. Филипп Панкратович одним жал руку, с другими обнимался, с некоторыми и поцеловался. Самых дорогих гостей лично сопровождал до места, остальным указал направление движения.

Как только прибыли оба начальника, старый и новый, попросил всех рассаживаться.

Столы были расположены буквой Т: длинный для рядовых гостей, короткий для почетных.

Там, так сказать в президиуме, кто? Начальник управления генерал-майор Лебедюк – вроде как порт отбытия; новый начальник по реабилитационной комиссии товарищ Чернозуб – порт прибытия; академик Клобуков – чтоб люди знали, какие у Бляхина друзья, не только по чекистской линии (этот что-то припозднился). И само собой сын, родная кровь, вроде как хлопотать по ходу мероприятия. Пускай все поглядят на бляхинскую породу.

При этом почетным гостям поставлены стулья с высокими спинками, себя же Филипп Панкратович расположил на табуреточке – вроде как с нее удобней вскакивать, чтобы стол обходить, а в то же время с намеком: я не заношусь, свое место знаю.

Зато он один был в мундире и при наградах. По недавнему приказу военнослужащим на неофициальных празднествах с употреблением

алкоголя быть в форме запрещено, чтобы не позорить ее свинским поведением. Потому что были случаи. А Бляхину можно – он теперь отставной. И сиял Филипп Панкратович орденами-позументами, как селезень среди серых уток.

Лишних и бесполезных тут никого не было, человек к человеку. С прежней службы – кто еще пригодится, с новой – все, с кем успел познакомиться.

Речь Филипп сказал короткую, чтоб не томить людей над накрытым столом. Всех кого надо поблагодарил. Помянул свой чекистский стаж – с восемнадцатого года. Закончил весело:

– По нашей боевой традиции, три первые рюмки без остановки! За ленинскую партию, за Советскую Родину, за наши Органы!

Еще недавно надо было начинать с товарища Сталина, но на первомайском банкете начальник главка вдруг поменял вождя на партию, и оказалась она не как раньше «ленинско-сталинская», а только «ленинская». Все тогда про себя ахнули. Так что правильно Симка насчет «Арагви» присоветовал. Про грузинскую кухню пора было забывать.

Все опрокинули рюмки – раз, два, три, сразу покраснелись, зазвенели вилками, повеселели.

Потом Бляхин дал слово новому начальнику – с ним теперь жить.

Товарищ Чернозуб был член Центральной Ревизионной Комиссии, то есть держал руку на самом пульсе. Его слушали внимательно, мотали на ус.

Кузьма Степанович говорил про актуальное. Что партия начала большую работу по исправлению искривлений социалистической законности и Филипп Панкратович не уходит на отдых, а примет участие в большой и важной работе. Что греха таить, в минувшие годы кое-кто в органах позабыл ленинские заветы, наломал дров.

Прежний начальник, сидевший по другую сторону от Бляхина, ерзал на стуле, кряхтел, сам себе дважды налил и выпил. Крепился, но не выдержал-таки.

Едва оратор закончил, взял слово. Он был уже на градусе.

– Легко сейчас говорить – «наломали дров». Больше всего народу среди нашего брата покосило, в самих органах. Попробовал бы кто заерепениться. Вот его спросите, Бляхина. Он при Ежове послужил, в

самом что ни на есть пекле. Еле ноги оттуда унес. Расскажи им, Филипп Панкратович.

Все посмотрели уважительно. Кадров ежовской поры в аппарате осталось немного.

Нельзя было, чтоб новый начальник решил, будто Бляхин старого больше уважает, но и Лебедюку перечить не следовало.

– Да что, товарищ генерал, Ежова вспоминать. Страшный был человек, хотя сам вот такого росточка. Мне по плечо. Я ему прямо рубанул. «Не согласен я, говорю, товарищ генеральный комиссар госбезопасности, в безобразиях участвовать. Как бы, говорю, на этикие дела товарищ Дзержинский посмотрел?». Выперли меня к черту из политического отдела, вся карьера к черту! – Махнул рукой, посмеялся. – А и слава богу. Зато совесть чистая, опять же вон в какой хороший коллектив попал. Давайте я лучше про Феликса Эдмундовича расскажу, коли уж вы его помянули. Его я тоже вот как товарища Чернозуба сейчас видел. Это, значит, осенью двадцатого возвращаюсь я с польского фронта – я ведь в Первой Конной у Буденного шашкой махал...

Тут очень кстати появился опоздавший Антоха, с букетом.

– Давай сюда, Клобуков! – закричал Филипп Панкратович. – Он, товарищи, тоже буденновец! Вместе подо Львовом воевали. Молодые были. А теперь он медицинский академик. Вот что советская власть с людьми делает. Садись, Антон Маркович. Сима, налей академику штрафную. Сын это мой, в Германии служит, по организации Варшавского договора.

Рассказал про Дзержинского, как был у него в кабинете. На самом-то деле был Рогачов, Филипп за дверью с бумагами сидел, но это невелика разница. Вдруг пришло в голову: коли так дальше пойдет, с реабилитацией, скоро можно будет и про Рогачова рассказывать. Даже мемуар какой написать.

Банкет шел просто великолепно. Всех, кого следовало, Бляхин обошел, уважил. Начальников соединил темой охоты – оба оказались любители побродить с ружьишком. За длинным столом стоял гомон, на дальнем углу уже запели «Орел степной, казак лихой».

Только заметил Филипп Панкратович, что Антоха-академик сидит один перед полной рюмкой сыч сычом. Ясное дело – никого тут не знает, поговорить не с кем.

Надо было Клобукова тоже уважить. Из центральной ведомственной поликлиники Бляхина теперь переведут на Басманную – всех отставников ниже генеральского звания туда списывают. Уровень медобслуживания там, конечно, не тот. А здоровье лучше не станет. Свой медицинский академик очень пригодится.

Подсел.

– Ты чего смурной, Антоша?

– Вспомнил, что сегодня годовщина. Дочь у меня болеет, пневмония, из головы вылетело. А сейчас вдруг стукнуло. Пятнадцатое октября. Восемнадцать лет, день в день.

– Что за годовщина-то?

– Забыл? – вроде как удивился Клобуков. – Хотя что тебе... Ты такого, наверное, много повидал. А у меня незаживающая рана.

– Да о чем ты?

– Помнишь, как ты ко мне пришел тогда? Хотел Мирру спасти. Для этого надо было выдать Иннокентия Ивановича Баха, которого я знал с детства. И я выдал... – В клобуковских глазах была мука. – И Мирру не спас, и человека погубил. Знал бы ты, какого человека... Из-за этого у меня пятнадцатое октября – черный день календаря. Самый страшный день моей жизни.

Сладко же ты жизнь прожил, коли это твой самый страшный день, подумал Бляхин, но говорить обидное, конечно, не стал. Ну и удивился. Ишь как оно совпало-то.

Поколебался немножко. Информация-то секретная, разглашению не подлежащая. Но с другой стороны не бог весть какая государственная тайна. И дружить надо с Антохой.

Наклонился к самому уху.

– Не имею права тебе говорить, но по старой нашей дружбе... Нет, сначала вот что учти, чтоб зря не терзаться. Баха этого ты тогда сдал правильно. Не то и сам сгинул бы, и детям своим жизнь поломал. Это первое. А второе... – Перешел вовсе на шепот. – Никого ты не сгубил. Жив твой Бах.

– Что?! – вскрикнул Клобуков тонким голосом. На него заоборачивались.

– Пойдем-ка...

Филипп Панкратович вывел академика в коридор, где никого не было.

– Вызвали меня недавно к реабилитационному прокурору, есть теперь такие. По делу об эсеровско-фашистской КРО «Счастливая Россия». Я в тридцать седьмом году ею занимался.

– Каэро? – переспросил напряженно слушавший Антон.

– Контрреволюционная организация. Прокурор мне говорит: «Тут написано, что вас по личному распоряжению Ежова с дела сняли, с выговором, и отстранили от следовательской работы. Почему?». Отвечаю: так, мол, и так, не было сил смотреть, как подводят под расстрел невинных людей. Рассказал всё, что помню. Получил благодарность за помощь в реабилитационной работе.

А заодно – про это Антохе знать было необязательно – прокурор пристроил Филиппа Панкратовича в нынешнюю комиссию как незапятнанного репрессиями работника.

– И что?

– Да то, что твой Бах проходил аккуратно по делу «Счастливой России». И знаешь, почему оно на пересмотр пошло? Потому что заявление поступило. Угадай от кого.

Какое там «угадай» – Клобуков только глазами хлопал.

– От Баха Иннокентия Ивановича, 1877 года рождения. Не расстреляли его тогда почему-то. И оказался он, чертяка, двужильный. 78 лет деду, восемнадцать годков отмотал – и живой!

– Г-где... Где он с-сейчас? – проблеял Антоха, заикаясь.

– Где-то в Московской области, на 101 километре. Надо дома поглядеть. Я записал себе адрес для памяти. Сразу про тебя подумал. Только ты мне не звони. Времена сейчас, конечно, не те, что тогда, а все ж таки не надо. Мало ли. Лучше зайди ко мне. Есть ручка? Пиши адрес.

На самом деле ничего Филипп Панкратович не записывал – зачем ему, память он имел превосходную. Можно сказать, профессиональную. Что где в документах увидал – запоминал накрепко. Запомнил и адрес этого Баха, проходившего по делу как «брат Иларий». Но в голове составила комбинация: познакомить Клобукова с Евой. У нее щитовидка, суставы. Пускай устроит по своим академическим связям – в порядке благодарности.

У Антона на лбу выступила испарина, подбородок мелко дрожал. Разволновался человек.

Воскресник

– «С огромным удовлетворением советские люди, всё прогрессивное человечество встретили пламенные призывы ЦК КПСС к тридцать восьмой годовщине Великой Социалистической революции. Они проникнуты неустанной заботой об укреплении мира между народами, о неуклонном повышении материального и культурного уровня трудящихся, о великом деле строительства коммунизма в нашей стране. Есть там обращение и к нам, медицинским работникам, товарищи, под пунктом 63. «Медицинские работники! – говорится в призыве. – Улучшайте и развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику достижения медицинской науки!» Задумайтесь над этими словами, товарищи. Каждое из них на вес золота...

Голос Митрофанова, секретаря институтского парткома, был монотонен и скучен. Трое в президиуме – директор, председатель месткома и комсомольский секретарь – держали подобающие мероприятия лица, но в зале кто-то дремал, кто-то перешептывался, сосед справа потихоньку решал кроссворд.

Воскресник по подготовке к Октябрю, как положено, начался с торжественного собрания и «Ленинского часа». Потом будет уборка территории. И еще как назло в отделе чаепитие по случаю «Эфирного дня», профессионального праздника анестезиологов. 109 лет назад, 16 октября 1846 года, на хирургической операции впервые с успехом было применено диэтилэфирное усыпление. Долго оставаться незачем – сотрудникам без начальника только веселее, они смогут перейти от чая к более интересным напиткам, но не показаться вовсе нельзя. Стало быть, раньше часа, а то и половины второго не освободиться...

Антон Маркович ночью не мог уснуть и сейчас тоже сидел как на иголках. Вчерашнее известие – о том, что Иннокентий Иванович жив – оглушило и ошеломило его.

Когда он вернулся с банкета – ушел сразу после разговора с Бляхиным, – Ада не лежала в постели, а сидела на кухне и ела кукурузные хлопья с молоком. Черепашка была тут же на столе, в блюдечке у нее было то же самое.

– Полюбуйтесь, – сказала Мария Кондратьевна. – Полчаса назад проснулась, встала и будто не было никакой пневмонии. Оделась, стала хозяйничать. Температура нормальная, легкие чистые. Никогда такого не видела.

– Она дала вам себя прослушать? – удивился Клобуков. Он, конечно, очень обрадовался, но сердце сжалось. Если Ада выздоровела, к поискам Баха придется приступить завтра же. Предлога откладывать это мучительное дело теперь нет.

– Не уверена, что она меня заметила. Смотрела мимо. Но не испугалась и терпеливо подождала, пока я ее вертела и щупала. Всё, пойду. И жду вас в понедельник вечером. Адрес – на бумажке.

Епифьева взяла с собой несколько отпечатанных страниц, пожелала спокойной ночи и ушла.

Но спокойной ночи не вышло. Наспавшаяся Ада что-то бормотала черепаше у себя в комнате, Антон Маркович ходил по кабинету, ерошил волосы. Выпил успокоительное, прилег на диван, но вскоре опять вскочил.

Утром перед воскресником пошел к Филиппу, еле дождался приличного времени – и все равно разбудил. Бляхинская жена заставила пить чай, долго рассказывала о своих проблемах со здоровьем, просила направить к хорошим специалистам. К началу собрания Антон Маркович опоздал, зато получил адрес в Коломне и собирался, как только освободится, ехать на страшный суд. Он состоится сегодня...

Шевельнулась малодушная мысль: не написать ли письмо? Но нет. Чашу нужно было испить честно, до дна. Встретиться лицом к лицу, посмотреть в глаза тому, кого предал – и потом как-то жить дальше.

– Поглядим, как ты запоешь, когда вернутся те, кого ты посадил, – шепнул сосед слева, хирург Золотников.

Антон Маркович с ужасом повернулся к нему и увидел, что Леонид Сергеевич смотрит на докладчика.

– Говорят, это Митрофанов, скотина, в сорок девятом на Шинделя донос накатал. За космополитизм и низкопоклонство перед западной наукой. А теперь Шинделя выпустили и восстановили. После октябрьских появится. Интересная будет коррида.

Золотников шумно захлопал – выступление закончилось. Потом еще минут пять поотчитывалась заврегистрацией Серебрякова, руководившая кружком политического самообразования: столько-то

прослушано лекций, столько-то проведено семинаров, взято обязательство перед райкомом подготовить материалы для конференции «Победа народно-демократических движений в ряде стран Азии и Африки – торжество стратегии и тактики ленинизма».

Всё, пошабашили.

Врачи и сотрудники поднялись, стали расходиться по участкам.

– Бал нищих прошу считать открытым! – пошутил весельчак Лукерьев из реаниматологии.

Врачи и сотрудники, одетые в сапоги, ватники и всякое старье, действительно выглядели массовой к пьесе «На дне». Антон Маркович тоже был в линялом брезентовом дождевике, в разбитых, еще армейских кирзачах. Это и для поездки за город было правильно. В Коломне после дождей, поди, грязи по колено.

Отделу анестезиологии было назначено подметать листву на главной аллее и покрасить бордюр, но Клобукова поманил к себе директор института Иван Харитонович Румянцев.

Он тоже оделся проще обычного – очевидно, по примеру Ленина собирался показывать личный пример коммунистического труда. Правда, в случае Ивана Харитоновича простота выразилась в том, что сегодня он пришел в полевом военном кителе и защитного цвета брюках с красными лампасами. Помимо прочих высоких должностей и званий Румянцев был еще генерал-лейтенантом медицинской службы. В конце войны он занимал пост главного хирурга одного из фронтов.

– Зайдете, Антон Маркович? – сказал директор. – Разговор есть. Успеете метлой помахать. Да оно и необязательно в вашем возрасте. Помоложе найдутся.

Сам Румянцев был едва за сорок. Свежий, подтянутый, с наголо бритой головой, он был бы похож на комбрига Котовского – если бы легендарный герой носил очки в щегольской заграничной оправе. Иван Харитонович и держался не по-советски. Всегда корректный, сдержанный, никогда не повышающий голоса, со всеми без исключения на «вы», но при этом умеющий внушать трепет. В институте директора не любили, но уважали. Еще бы – он, собственно, и был ВИХР, Всесоюзный институт хирургии имени Румянцева, головное медицинское учреждение страны, работники которого гордо именовали себя «вихревцами».

Имя институту, правда, дал не Иван Харитонович, а его покойный отец, великий хирург Харитон Румянцев. Директорство перешло к сыну по наследству, и Румянцевский институт теперь был институтом Румянцева-младшего. «Инфант», как его раньше называли за глаза, не просто взошел на трон, но превратился в абсолютного монарха. Он занимал три должности – в институте, в президиуме Академии и в министерстве обороны, получал три оклада плюс гонорары за научные публикации, в том числе иностранные. Кто-то подглядел в ведомости, что Румянцев платит партвзносы с суммы в пятьдесят тысяч. Это пятилетняя зарплата участкового врача. А еще Иван Харитонович являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.

Остроумец Лукерьев как-то сказал, что институт существует в условиях просвещенного абсолютизма. В российской истории это далеко не худший режим власти, ответил ему тогда Антон Маркович.

Главное, что директор ценил в сотрудниках деловые качества и знания, а не покладистость или подхалимство. К начальнику анестезиологического отделения Клобукову, например, относился с уважением, на сложных операциях приглашал к себе в ассистенты.

Поднялись в кабинет.

Он был мемориальный, как при Румянцеве-первом, с массивной дореволюционной мебелью, с портретами вождей и медицинских светил, с бронзовым бюстом покойного Харитона Александровича, но под Пироговым и Сеченовым на стене висели фотографии лошадей. Директор увлекался верховой ездой, на ипподроме для него держали личного донского рысака. Еще Антон Маркович заметил под вешалкой спортивную сумку, из которой торчали теннисные ракетки. Одним словом, это был деятель нового поколения, не похожий на прежних титанов медицины, что носили круглые академические ермолки и бородки клинышком. На столе потрескивала заграничная лампа дневного света, озаряла старое зеленое сукно холодным сиянием технического прогресса.

Терять время на пустые разговоры Иван Харитонович не любил.

Усадив Клобукова в кресло и сам сев напротив, сразу без предисловий приступил к делу.

– Митрофанов рассказал мне о вашей беседе. Был очень удивлен. На его памяти никто от такого предложения еще не отказывался. Причина?

Антон Маркович вздохнул и повторил то же, что ответил на прошлой неделе секретарю парткома:

– Я не считаю себя созревшим для вступления в партию. А поскольку мне скоро шестьдесят, то, видимо, уже и не созрею. Такой уж я человек. Считайте меня продуктом старорежимной аполитичности.

Еще совсем недавно объявить себя аполитичным было бы рискованно, но сейчас можно себе позволить.

Однако Румянцев не дубина Митрофанов – смотрел пытливо и недоверчиво. Нужно было объяснить как-то более внятно. Но не скажешь же прямым текстом, что неохота на старости лет вляпываться в эту пакость.

– Понимаете, Иван Харитонович...

Запнулся, подыскивая слова, а они всё не приходили.

– Я-то понимаю, – нетерпеливо сказал Румянцев. – Это вы, Антон Маркович, не понимаете. Хорошо, я объясню. Знаете, я почти никогда не разговариваю ни с кем начистоту. Это привычка, выработанная с юности. То есть раньше вообще никогда и ни с кем, даже с женой. Но сейчас изредка стал себе позволять. Потому что наступило иное время и потому что я научился лучше разбираться в людях. Вижу, с кем можно, а с кем нельзя. С вами – можно. Поэтому буду говорить с полной откровенностью, без недомолвок.

Глаза за очками – сверху черными, снизу золотыми – светились умом, решительностью, силой. Антон Маркович внутренне насторожился.

– Ничего не замечаете нового?

Директор кивнул на три самых больших портрета. Клобуков бывал в этом кабинете бесчисленное количество раз и никогда не обращал на них внимание. Положено висеть вождям, они и висят. Слева направо Маркс, Ленин, Сталин.

А сейчас посмотрел – Маркс, Ленин, Энгельс. Вот это да...

– Скоро будет съезд партии, на котором прозвучат очень важные, даже исторические заявления, – весомо и торжественно произнес Румянцев. – Пока это хранится в тайне, немногие посвященные дают расписку. Но вам скажу, при условии полного молчания. Обещаете?

Антон Маркович кивнул.

– Мне как члену Верховного Совета РСФСР прислали секретный доклад ЦК о тяжелых ошибках и злоупотреблениях властью,

допущенных при Сталине.

Просто «при Сталине»? Даже не «товарище»? – поразился Клобуков.

– Из-за властолюбия и личных амбиций бывший руководитель государства заменил социалистическую демократию культом собственной личности, нарушил заветы Ильича. Партия собирается очиститься от наследия прошлой эпохи и вернуться к великим принципам ленинской партии большевиков, к коллективному руководству. Вы понимаете, что это означает?

– Что всех посаженных, кто еще жив, выпустят! – в волнении воскликнул Антон Маркович. – Не маленькими порциями, потихоньку, а всех и с полной реабилитацией! Это огромное, великое дело!

– Не в том суть, – перебил директор. – Не в том, что кого-то выпустят или не выпустят. Свершается исторический поворот, а то и переворот. Меняется формат государства. Власть теперь будет сконцентрирована не в руках одного человека, а перейдет к группе людей, которую у нас по установившейся традиции называют «партией», хотя это никакая не партия. Зарубежные советологи это сословие называют «номенклатурой», я же внутренне, для себя, определяю его как национальную элиту. Знаете, я на досуге люблю читать книги по отечественной истории. Они хорошо помогают понять, какая у нас страна. Это только детей в школе учат, что с семнадцатого года началась принципиально новая эпоха. На самом деле всё уже было, и нет ничего нового под солнцем, как сказал один классик домарксистского периода.

Иван Харитонович не улыбнулся, он никогда не улыбался, но в глазах сверкнула искра, которая однако сразу же и погасла.

– Нечто очень похожее произошло два века назад, когда Екатерина Вторая издала указ о вольности дворянства. Царица допустила высшее сословие к управлению страной, предоставила ему права и льготы, перестала запугивать жестокими наказаниями – и за это дворянство стало служить империи не за страх, а за совесть. Элита становится элитой, когда избавляется от ужаса перед дыбой и розгой, получает гарантии личной безопасности. Это намного более удобная и приятная модель государственного устройства. При Екатерине вместо ужасного Тайного приказа возникла травоядная Тайная экспедиция. У нас Министерство государственной безопасности, раньше – центральный

орган госуправления, превратился в Комитет, существующий всего лишь при Совете министров. Это, Антон Маркович, колоссальная разница. Беспорядочно арестовывать, мордовать в застенках, гноить в лагерях и расстреливать дворян больше никто не будет.

Румянцев хмыкнул.

– Вы поморщились на слово «дворяне». Наши свиномордые секретари обкомов и райкомов не кажутся вам аристократами. И зря. Петровское дворянство поначалу тоже было диким, вшивым, грубым. Но уже следующее поколение болтало по-французски и танцевало менуэты. То же будет и у нас, дайте срок.

«Это допустим верно, – подумал Антон Маркович. – Твой отец родился в деревне, выучился на медяки и до конца жизни, уже будучи вице-президентом академии, пил чай вприкуску, а ты вон какой джентльмен».

– Я всё это вам рассказал, – закончил директор, – чтобы вы ясно понимали: отказаться от вступления в партию – все равно что раньше было отказаться от дворянского звания. Такое никому и в голову бы не пришло.

«Отчего же, Клобуковы отказались», – мысленно возразил Антон Маркович, вспомнив, как дед-декабрист счел ниже своего достоинства восстанавливать дворянство после каторги. Но не стал тратить время на генеалогические экскурсии.

– Что ж, откровенность за откровенность. Меня с души воротит от всей этой трескучей дребедени, которой нас только что кормил товарищ Митрофанов. До физического отвращения. Не нужно мне такого дворянства ни за какие коврижки!

Румянцев ужасно удивился.

– Да не обращайтесь вы внимания на пустяки! Всякая стабильная государственная система нуждается в сакральных ритуалах. Просто до революции нужно было устраивать крестные ходы и отстаивать в церкви молебны, а теперь – вот это. Слова и обряды другие, суть та же самая. Даже лучше стало. В церкви надо было стоять, а на собрании сидят. И никто не заставляет исповедоваться. Перекрестился на иконы (директор кивнул на портреты вождей) – и ступай себе, занимайся своим делом.

Тут у Антона Марковича появилась возможность спросить о том, что его в свое время поразило и о чем в обычной беседе он заговорить

никогда не решился бы.

– В прошлом году я один раз заглянул к вам, когда вы готовились к операции. Вы меня не заметили. И я увидел, что вы креститесь. Причем вовсе не на портреты, а, как мне показалось, на образок. Я тихо прикрыл дверь и с тех пор всё думаю: мне это не привиделось?

– Не привиделось, – спокойно ответил депутат верховного совета. – Образок остался от отца. Лик святого покровителя врачей Пантелеймона Никомедийского, целителя безмездного. Перед операциями отец всегда ему молился, и я это делаю. Потому что в самые ответственные моменты я доверяюсь не мозгу, а инстинкту. Представляю себе, что моей рукой двигает Бог.

Он действительно хирург от бога, подумал Клобуков. Один из первой десятки кардиохирургов планеты и безусловно лучший в Советском Союзе.

– Только при чем здесь моя иконка? – с некоторым раздражением продолжил Румянцев. – Внутренне вы можете верить во что хотите, только общепринятых приличий не нарушайте. Ничего уникально советского в этом нет. Так было во все времена и повсюду. Закон любого социума.

Человек должен соблюдать лишь те законы социума, которые не противоречат его этическому и эстетическому чувству, мысленно возразил Антон Маркович, но говорить этого не стал. Ибо сам, увы, не всегда следовал сему щепетильному правилу. В России двадцатого века оно стало непозволительной роскошью.

– Хорошо, – вздохнул Иван Харитонович после паузы. – Скажу то, чего не собирался. Я вошел в министерство с предложением открыть при нашем институте научно-исследовательский центр анестезиологии – первый в СССР и второй в мире после недавно созданного цюрихского. Это откроет новые возможности – кадровые, финансовые, организационные. Всё, о чем мы с вами постоянно говорим – клинические испытания фторотановой анестезии, разработка нового ингаляционного аппарата и прочее – станет реальностью. И в руководители центра, а по совместительству мои заместители я хочу продвинуть вас. Вы меня устраиваете по всем параметрам. Но замдиректора союзного НИИ – номенклатура ЦК. Человека беспартийного на такой должности не утвердят. Теперь понимаете, почему я велел Митрофанову с вами поговорить?

Антон Маркович был взволнован открывающимися перспективами – и, разумеется, наполеоновским размахом идеи. Если главный анестезиологический центр страны будет существовать под эгидой ВИХРа, Румянцев станет безусловным и неоспоримым лидером всей советской хирургии.

Оценил Антон Маркович и психологический ход. Румянцев не стал соблазнять материальными и статусными выгодами (такая должность сулила и действительное членство в академии, и многое другое), а поманил новыми возможностями, которые были ох как соблазнительны. С другой стороны, если начнется серьезная научно-исследовательская деятельность, кто бы ни стал руководителем центра, работа по фторотану и прочие неотложные исследования все равно развернутся.

– Вы можете назначить Дымшица, он партийный, – сказал Клобуков. – Я отлично поработаю под руководством Якова Григорьевича. По административной части он намного способней меня.

– Яков Григорьевич, к сожалению, еврей, а вы русский. Это важно.

– Но ведь после прекращения «дела врачей» и осуждения «отдельных антисемитских поползновений» ситуация исправилась. Разве нет?

Директор покачал головой.

– Увы. Евреям доступ в элиту затруднен. Совсем как в царской России, где им не давали дворянство. Но тогда причина была религиозная, а сейчас политическая. Создание государства Израиль и антисоветские настроения еврейского капитала США заставляют правительство относиться к гражданам еврейской национальности с осторожностью. Ведь идет война, хоть и холодная. Советские евреи оказались в положении русских немцев после 1914 года. Подозрительны уже одними своими фамилиями. Мне приходится учитывать эти реалии. Кроме вас специалистов-неевреев такого уровня в стране трое. Корнейчук пенсионного возраста и здоровье не очень, Свентицкий – харбинец, у Саакянца невозможный характер. Вы же – идеальная кандидатура. Первопроходец отечественной анестезиологии, буденновец, сын погиб на войне. Мешала мутная история с женой, но теперь это не препятствие. Единственная проблема – беспартийность. В общем, хорошенько подумайте, Антон Маркович.

И разговор закончился.

«Помахать метлой» Клобукову так и не довелось. Сотрудники управились с уборкой-покраской оперативно, за полчаса, чтобы поскорее приступить к празднованию «Эфирного дня». Когда Антон Маркович заглянул в отдел, женщины заканчивали раскладывать угощение, подтягивались и мужчины. На столе были торт «Прага», домашние пироги, конфеты, сыр-колбаса – и нарезанные соленые огурцы, которые при появлении начальника были деликатно прикрыты медицинской салфеткой. В графине якобы с водой, которая при чаепитии не требовалась, наверняка был разведенный спирт. Судя по раздурянным лицам, в процессе подготовки дамы к нему уже приложились.

Антон Маркович произнес короткий спич, поздравил коллег с праздником, сказал, что «хороший начальник – отсутствующий начальник», и шутливо пожелал подчиненным после его ухода бережно хранить моральный облик советского медработника.

Посмотрел на старшую медсестру Ковалеву, та кивнула и вышла за ним в коридор.

Зинаида Петровна, Зиночка, была незаменимой помощницей по всем оргвопросам, а также украшением отдела анестезиологии. Крупная, сочная, эффектная, немножко перебиравшая с косметикой, но ей это шло. Ярко-алый цвет сочных губ подчеркивал белизну ровных зубов, почти всегда полуоткрытых в улыбке. Полная жизни красивая тридцатилетняя женщина – самый привлекательный образчик биологического вида *homo sapiens*, любясь Зиночкой, часто думал Клобуков. К начальнику старшая медсестра относилась с обожанием, подчас даже утомительным. Зато любое поручение, любую просьбу исполняла с рвением.

– Всё выяснила, Антонмаркыч, – скороговоркой доложила она. – Позвонила на Казанский вокзал, спросила про электрички на Коломну и обратно.

Зинины глаза блестели, в них посверкивали возбужденные огоньки. Говорила она заговорщическим шепотом, будто выполнила некое секретное задание, и очень близко придвинулась – полная грудь касалась клобуковского плаща. Антон Маркович слегка отстранился, чувствуя смущение – Зиночка, кажется, была не вполне трезва. От нее пахло духами, пудрой и алкоголем.

– Очень благодарен. Записали?

Улыбка стала лукавой.

– Да. Только бумаги под рукой не было, пришлось на обороте фотокарточки. Ничего? Меня снимали для доски почета, я попросила отпечатать несколько штук.

Протянула снимок. На нем Зинаида Петровна была принаряженная, с красивой прической, при янтарных бусах, которые надевала по торжественным случаям.

– Спасибо. Сохраню на память, – вежливо сказал Антон Маркович. Перевернул. Ближайший поезд отходил в тринадцать сорок пять. «Через два или три часа увижу Баха, о господи», – с содроганием подумал Клобуков.

Сунул карточку в левый внутренний карман.

– Вот я наконец и нашла путь к вашему суровому сердцу, – хихикнула Зина. – Давно об этом мечтала.

Она положила ладонь ему на грудь, словно трогая через ткань фотографию.

– Я немного нетрезвая, поэтому храбрая. Можно дам вам совет?

– Конечно-конечно, – удивился он.

– Езжайте четырехчасовой электричкой. Посидите немного с нашими. Выпейте. Другие начальники отделов это делают, и ничего, авторитет не страдает. Сократите дистанцию, к вам от этого будут только лучше относиться. Я вам это говорю, потому что сегодня нерабочий день. И потому что я хочу, чтобы вас любили.

Антон Маркович растрогался. Да и совет был хороший.

– Обязательно, Зиночка. В следующий раз так и сделаю. Но сейчас мне нужно торопиться. Ступайте, веселитесь. Спасибо вам.

* * *

Сапоги действительногодились. В Коломне от вокзала до дома на улице Дзержинского путь был неблизкий, асфальт скоро кончился, пару раз пришлось перебираться через огромные лужи по доскам.

Из-за налипшей грязи ноги стали тяжелыми. Идти было тягостно, как в нехорошем сне. И, конечно, не только из-за чавкающих сапог. Каждый шаг приближал Антона Марковича к ужасному моменту.

Валидол не действовал, сердце то учащенно колотилось, то будто замирало.

Перед старым бревенчатым домом с почерневшим номером 66 Клобуков был вынужден немного постоять. Толкнул визгливую калитку. Поднялся на крыльцо. Постучал.

Открыла замотанная в платок тетка.

– Чего надо?

– Як Иннокентию Ивановичу... Он здесь проживает?

– Тут я проживаю. – Баба хотела захлопнуть дверь, но потом что-то сообразила. – Это дед что ли? Он не проживает, он временный. Нету его. Его днем никогда не бывает, шастает где-то.

– Тогда я зайду попозже, вечером, – пробормотал Антон Маркович, решив, что возвращаться в Москву и потом снова проделывать тот же путь – все равно что ампутировать конечность по частям. Лучше посидеть на станции и снова притащиться сюда по грязи, чем откладывать объяснение на другой день.

– Дед и ночует не всегда.

Тогда нет смысла ждать, подумал Клобуков. И потом, где тут ночевать, если уйдет последняя электричка?

Спросил:

– А... какой он, Иннокентий Иванович? В смысле, я с ним знаком, но очень давно не видел.

– Дед-то? Старый. – Тетка пожала плечами. – И того. – Покрутила пальцем у виска. – Всё бормочет чего-то. На кой таких выпускать? Уж сидел бы, пока не помрет. Сколько ему осталось?

– А если человека посадили по ошибке? – возмущенно воскликнул Клобуков. – Тоже пусть сидит, пока не помрет?

– В психбольницу по ошибке не содят. Врачам видней.

– В психбольницу? С чего вы взяли, что Иннокентий Иванович был в психбольнице?

– Он сам сказал, что раньше жил в больнице. Ясно, в какой. По всей евоной повадке видно. Но так плохого про него не скажу. Не пьет, не буйнит. Да его почитай никогда и не бывает. Может, побирается, ляд его знает. За комнату плотит, значит деньги есть.

Дверь закрылась. Антон Маркович остался на крыльце.

Понятно, что Бах не стал рассказывать квартирной хозяйке, откуда он прибыл. Иначе не пустила бы.

Тяжелый разговор откладывался. Клобуков чувствовал себя приговоренным, который получил – нет, не помилование, а отсрочку казни. Испытывал облегчение. Постыдное.

Напарник

В воскресенье Самурай в условленном месте не появился. Может быть, не закончил дела в Калининe. Или хреново себя чувствовал и не поехал. С ним часто случалось, он был насквозь гнилой.

Договорились так: ровно в полдень у памятника Пушкину, а число – это как получится. Телеграмму Санин отправил утром в субботу, там только одно слово «Приезжай». В тот же день к полудню было никак не успеть, Санин на Пушкинскую даже не поехал, проверил три адреса из списка. В воскресенье, когда напарник тоже не объявился, добил четыре остальных.

Но в понедельник тощая, как скелет, фигура уже ждала у постамента, сверкала лысой головой. Волос на ней вообще не было, даже бровей и ресниц. Остались в Таджикистане, где Самурай полгода прочалился на урановом руднике.

Кивнул, протянул костлявую руку.

– Санитар-сан. Банзай!

«Санитар» – лагерная кликуха. Ее Санин получил не только потому что одно время работал в лазарете, где и познакомился с припухавшим там Самураем. Санитары в больничке были и другие. Погоняло прилипло, когда у Санина вышла зацепа с одним блатарем. Тот поступил недавно и еще не разобрался, на кого можно сявкать, а на кого нельзя. «Я вор, а ты – мужик, моська» – сказал блатарь. «Я волк, санитар леса», – ответил ему Санин, готовясь врезать пыром в кадык. Но не пришлось. Авторитетные воры заржали, объяснили новому человеку, что Санина трогать не надо, и стал он с того дня Санитаром.

Настоящее имя Самурая было Игорь Викентьевич Шомберг. Из тридцати восьми лет своей жизни, которая по всем признакам подходила к концу, ровно половину, девятнадцать годков, он провел в заключении. Сел еще второкурсником как агент японской разведки – изучал в университете древнеяпонскую литературу. Отсюда и кличка. В сорок первом, правда, был переквалифицирован в немецкие агенты, огреб новый срок за попытку создания в лагере подпольной фашистской организации, но прозвище уже не поменялось. Вместо пули в затылок получил командировку на уран. Кто там за полгода не загибался, тех комиссовали и возвращали в обычный лагерь. Самурай

не загнулся, только затылок, спасшийся от пули, стал голым, как коленка.

Самое интересное, что хоть никакой фашистской организации в лагере, конечно, не было, но взяли Самурая не на голой туфте. Он рассказывал, что действительно радовался немецкому наступлению и говорил в бараке: Таракану скоро кирдык. Кто-то настучал куму.

Жизни в Шомберге осталось немного, но была она цепкая, как репей. Всё сулилась вот-вот закончиться, но не кончалась. Хилый, бухающий страшным кашлем, полуслепой, он продолжал коптить небо – такое ощущение, что единственно на ядерном топливе жгучей ненависти.

Санин после трех отсидок и всех мытарств стал каменным и холодным, мягкого и теплого в нем совсем ничего не осталось. Самурай же был будто расплавленный металл. Еще он напоминал ядовитый анчар:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей,
И корни ядом напоила.

Нет, скорее он был похож на гюрзу, налитую страшным весенним ядом, – так же шипел и без предупреждения кидался на тех, кого считал врагом. В лагере его обходили стороной. Физически слабый, в ярости Самурай выбешивался до пены на губах, не ощущал боли и, пока оставался в сознании, хватки не расцеплял.

– Семеро только? – сказал он сразу после своего всегдашнего «банзая». – А остальные что?

– Мало ли. Война, посадили, переехали куда-нибудь. Тебе что, семи мало?

– Мне все нужны.

Глаза за толстыми стеклами казались огромными, как у филина. Голые красные веки подергивались.

В последнее время у Самурая появилась новая привычка – вертеть во все стороны головой. Очки, сделанные в Калининне, были для него таким же великим событием, как для Санина зубы.

Все минувшие годы Самурай прожил без стекол, как в тумане, и теперь всё не мог наглядеться на мир. Добрее это, однако, его не делало. И то, что вновь прозревший видел, ему как правило не нравилось.

Сошлись они в последние два года, потому что имели общую мечту. Верней, мечта принадлежала Самураю, но он ею поделился с Саниным, увлек, дал загубленной жизни новый смысл.

Раньше, до Самурая, Санин жил, только чтобы выживать. Получалось у него неплохо, накопились навыки. Но так существует зверь в лесу или крот под землей. Человеку нужна большая цель. У Самурая, единственного из всех, кого Санин повидал за десять лет, она была. Ясно сформулированная, тщательно продуманная – и при определенных условиях осуществимая.

Мечта была не такая, как у других зеков. Не о выходе за коллечку. Во-первых, мы с тобой пособники, нас не выпустят, говорил Самурай (остальных, кто по 58-ой, в это время потихоньку уже начали освобождать). Во-вторых, даже если выпустят, что нам делать? Доскрипывать сколько осталось до могилы? Ради чего?

Ждать и гадать, выпустят или нет, он в любом случае не собирался. Неторопливо и тщательно готовился к побегу. План у Самурая был такой же, как он сам – безжалостный и безумный. Ночью вскрыть дверь барака (отмычка имелась), затаиться снаружи, убить обходчиков (они всегда ходили парами), переодеться в их форму, чтобы беспрепятственно проникнуть на КПП, заточками (они тоже были) переколоть всех, кто там окажется, сесть в дежурный «газик», догнать до железной дороги, а там ищи ветра в поле. По слабосильности Шомберг работал шнырем, уборщиком в административном корпусе, и однажды сунул нос в секретную сводку, забытую на столе. Там была интересная статистика, он переписал ее на бумажку, выучил наизусть и цитировал по памяти, как стихи: «Органы милиции плохо ведут розыск преступников, бежавших из тюрем, лагерей, колоний и камер предварительного заключения. В настоящее время в розыске находится более 9000 преступников. Кроме того, разыскивается более 20 000 лиц, скрывшихся от ареста, следствия и суда. В числе разыскиваемых 1775 убийц, 2855 бандитов и разбойников, 3940 воров». «Хрен нас найдут, – уверенно заявлял Самурай. – Да и искать не станут».

Санина он посвятил в эту дикую, но совсем не фантастическую затею только потому, что проверить такую штуку в одиночку невозможно. Главной мечтой напарник поделился позже.

Но с прошлого года пошли слухи, что пособникам сократят срока, лагерные порядки стали меняться, многих расконвоировали, и Санин уговорил товарища обождать. Зачем бегать, попадать в розыск, если можно выйти без шума и пыли? Оно и для мечты лучше.

Мечта у Самурая была самурайская, основанная на целой философии. «Смысл жизни состоит в том, чтобы увеличить в ней количество Добра и уменьшить количество Зла, – говорил Шомберг. Он много об этом думал и излагал красиво, как по-письменному. – Выполнять обе работы сразу невозможно, потому что добро делают добрыми руками, а зло – злыми. Это принципиально разные занятия. Если б меня не выдернули из прежнего существования, я бы остался мальчиком-одуванчиком, вырос бы в тихого интеллигента и высаживал бы на клумбе анютины глазки, от которых жизнь становится красивей и добрее. Милое дело! Но меня развернули в другую сторону – как и тебя. Выпихнули на Путь Зла и преподали эту науку по полной программе, от начальной школы до докторантуры. Жизнь нам с тобой сломали, но смысла ее не лишили. Мы с тобой доктора зловедческих наук, так давай работать по специальности».

Количество накопившегося в мире Зла философ собирался уменьшить простым и эффективным образом: нейтрализовать как можно больше прислужников Зла. Год за годом, обстоятельно и кропотливо, Самурай составлял список самых подлых и жестоких оперов, следователей, костоломов, вертухаев. Опрашивал других зеков, перепроверял и уточнял информацию, заучивал наизусть данные. Отбирал только беспримесных, несомненных негодяев. Нанизывал их жемчужина к жемчужине, как ожерелье. При этом он не включил особистов, которые сажали и мордовали его самого. «Это не личная месть, а возмездие. Мы с тобой не графы Монте-Кристо, мы поправляем баланс Инь и Ян», – говорил бывший востоковед.

Освободили их обоих внезапно, три недели назад. Говорили, что поспешность была вызвана подписанием договора с немцами об окончательной репатриации военнопленных. Не стали разбираться – кто оккупант, а кто пособник. Катитесь на все четыре стороны. Посидели и забудьте.

К этому времени ожерелье Самурая состояло из 78 «бусин». Больше всего, восемнадцать кандидатов, вроде бы проживали в Москве. С нее доктора злых наук и решили начать. «Действуем быстро, но без суеты, по разработанному плану», – сказал Шомберг.

Первый раздел плана назывался «Подготовка». Состоял из четырех пунктов:

1. Матбаза.
2. Глаза и зубы.
3. Разведка.
4. Выход на позицию.

«Матбазу», то есть денежные средства, необходимые для жизни и оперативных расходов, напарники собирались добыть по дороге на запад, в Свердловске. На зоне они потолковали с шофером из тамошнего облуправления МВД. Мужик присел за кражу бензина, и его лагерная судьба зависела от того, будут его считать «мусором» или нет. Погон он не носил, но служил-то в ментовке. Санин с Самураем вписались за бедолагу, а он в благодарность рассказал им много полезного.

Идея была, само собой, шомберговская – простая и отчаянно дерзкая. «Кто не опасается грабителей? Тот, кто их ловит, – заявил Самурай. – Сапожник, как известно, без сапог».

В последний понедельник каждого месяца в облуправление привозили зарплату сотрудникам. На обычной машине – бухгалтер да водила. Какому психу придет в голову нападать на милицейский автомобиль?

Прямо около горбанка, пока бухгалтер ходил за деньгами, Санин вырубил курившего в машине шофера коротким ударом в висок. Прохожие даже не заметили. Просто наклонился человек к окошку прикурить, да разговорился о чем-то с водителем. Когда же приблизился дядя в шляпе, с холщовой опломбированной сумкой, Санин выпрямился, развернулся. Шляпа полетела в одну сторону, дядя – в другую, сумка оказалась у Санина, он рванул в ближайшую подворотню, где поджидал Самурай. Вот и вся операция. Взяли больше ста тысяч. Этого должно было хватить надолго.

Час спустя грабители уже сидели в вагоне-ресторане, пили «боржоми» за удачное исполнение первого пункта Плана. Алкоголя оба не употребляли. Самурай прямо кис со смеху. Его очень веселило, что

лягаши остались без зарплаты. А в лагере Шомберг никогда не смеялся, не улыбался. Санин был уверен, что у напарника и мышц таких на лице нет, одни желваки.

Самурай и сейчас, на московской площади, всё скалился. Ему нравилась свобода, а еще больше – что весь первый раздел Плана успешно завершен. Очки сделаны, разведка проведена, позиция обеспечена.

– Хорошая хаза?

– Сойдет.

– Близко отсюда?

– На троллейбусе.

Здрав головы, посмотрели на женскую статую, венчавшую магазин «Арменторг». Обоих забрали, когда высоченного здания еще не было, Пушкин стоял на другой стороне площади, а улица Горького выглядела совсем по-другому.

– Красиво, – сказал Санин.

– Блевотина, – отрезал Самурай.

Но спорить из-за архитектуры не стали.

– Рассказывай, кого выловил, – попросил напарник. – Не томи. Главное, Сагайдачный есть?

Это был его фаворит, в тридцать восьмом заведовавший «Спецобъектом 110», Сухановской пыточной тюрьмой. На Сагайдачного было больше всего свидетельских показаний.

– Нет. В адресном бюро не значится.

– Эх, жалко. Ну давай кто есть. Семеро, говоришь?

– Насчет одного не уверен. Имя, отчество, год рождения сходятся, но я съездил, понаблюдал. Не уверен. У тебя в описании худой брюнет выше среднего роста, а тот, которого я видел, пузатый и плешивый, сутулый.

– Мог разжиреть, облысеть и скрючиться. Сколько лет прошло. Это который?

– Лев Соломонович Ковнер.

– А, «Стоматолог». Тоже сухановский. В прошлом зубной техник. Пристегивал допрашиваемого к креслу, сверлил в нерв бормашиной. Трое свидетелей. Ладно, проверим. Остальные кто?

– Так... – Санин достал бланки, полученные в справочных пунктах. – Игнат Иванович Лесных. Живет в Марьиной Роще.

– Из Лефортова. Делал «яичницу» – давил сапогом яйца. Двое свидетелей. Отлично.

– Аркадий Фелицианович Блажевич. Живет на Шаболовке.

– Из Внутренней Лубянской. У меня проходит как «Психолог». Физических методов не использовал. Брал родственников. И потом уже не выпускал, даже если получал показания. Четверо свидетелей.

– Олег Константинович Лисицкий. Метростроевская улица.

– Гнида. Провокатор. Создал по меньшей мере три «контрреволюционные организации». Я думал, его самого в конце концов к какой-нибудь из них пристегнули, как это у них бывало. Но гляди-ка, живехонек. Знать, ценный был кадр.

– Он теперь заслуженный деятель искусств. Солидный такой, с тростью.

– Вот мы ему эту трость... – И Самурай объяснил, как он планирует поступить с тростью и деятелем искусств.

– Лоскутов Клим Евдокимович. Высотный дом на площади Восстания. Тоже стал большой человек, его на персональном авто возят.

– С охраной? – встревожился Шомберг.

– Нет, обычный шофер.

– Тогда ничего. Это так называемый «Железный прокурор». Всегда требовал приговора «по потолку». Бог знает, сколько народу угробил.

– Далее Иван Афанасьевич Щуп. Проживает за городом, в Лобне. Вчера полдня на него потратил. Точно он, никаких сомнений. Ходит в кителе без погон, но петлицы синие.

– Отлично. Был начальником поездного конвоя на Воркутинском направлении. Зверюга из зверюг. Очень много свидетелей.

– Последний, седьмой – Ласкавый Егор Трифонович.

– А-а, с сорок шестого до пятидесятого начальник матросского ШИЗО. Изобрел камеру-«холодильник». Шестеро свидетелей, все с застуженными почками. Я для Егора Трифоновича тоже кое-что по части почек придумал.

Самурай сладко улыбнулся. Зубы у него были свои, но гнилые, десны неестественно белесые.

– Закрой пасть, – попросил Санин. – Ты из тех редких людей, кому улыбка не к лицу.

– Не могу. Душа поет. Сколько лет я этого ждал! Думал, не доживу. С кого начнем, а? Ты лично за которого?

Ответ был готов – Санин об этом уже подумал.

– Предлагаю начать с легкого и двигаться по линии усложнения. Проще всего достать Щупа. Он живет один. Похоже, сильно пьет. Дом малоквартирный, деревенского типа.

Самурай одобрил:

– Годится.

– Ты его к чему приговорил?

Идея Самурая состояла в том, чтобы фигурантов списка не убивать, это для них будет недостаточно, а ломать им жизнь – как они ломали жизни людям. Санин в эту часть Плана не вмешивался, знал, что напарник любовно и долго изобретал для каждого приговоренного персональную казнь.

– Увидишь, – снова оскалился Шомберг. – Всё будет по справедливости. Щуп так Щуп. Хотя стоп... – Он нахмурился. – Нет, давай лучше вот как поступим. Мы с тобой – карающая рука Судьбы. Так?

Санин покривился. Иногда напарник чересчур увлекался пафосом.

– Ну предположим. И что?

– Пусть Судьба выберет сама.

Самурай сел на скамейку, вынул блокнотик, в котором микроскопическим, совершенно нечитаемым почерком вел какие-то записи. Вырвал пустую страничку, разделил на семь полосок, на каждой написал имя. Скомкал. Пересыпал из одной ладони в другую. Шесть бумажных комков выкинул в урну, один развернул.

– Гляди-ка! Все равно Щуп. Вот как после этого не верить в судьбу?

Окобога

ТЕСТ № 3701

Тип: «**ДЕНЬ-М**»

Персональная картотека: К-227

Возраст: 58 л.

Образование: высш.+ (мед.)

Вы летите из Москвы в Хабаровск, на научную конференцию. Дорогу в семь тысяч километров, на которую век назад уходило полгода, а то и год, современный пассажирский лайнер «ИЛ-12» преодолевает всего за 28 часов, с пятью дозаправками.

Большая часть пути уже позади. Предпоследний перелет Иркутск-Чита недлинный, кресла удобные, элегантная бортпроводница разносит «Нарзан» и пиво, вид из иллюминаторов потрясающе красивый – вы только что парили над Байкалом. Одним словом, всё было бы прекрасно, но машину потряхивает, и всех просят пристегнуть ремни.

– Не беспокойтесь, товарищи, – говорит стюардесса, переходя от ряда к ряду. – Командир принял решение изменить курс. Облетаем грозу. Беспокоиться не о чем.

Вы сидите в последнем, восьмом ряду, справа от прохода. Ваша соседка, румяная дама в цветастом платке спит, откинувшись назад. Это дает вам возможность смотреть вниз. Там тайга – бело-серая, потому что сквозь снег проступает рябь деревьев. Вдали видны горы. Искрится на солнце замерзшая река. Уже середина марта, но здесь, в Забайкалье, еще зима зимой.

Слева от вас, через проход сидит мужчина в кожаной куртке. Он курит папиросу за папиросой. Мужчине скучно – его сосед смешал пиво с водкой, быстро охмелел и похрапывает. Поэтому человек в кожаной куртке все время обращается к вам.

– Видите, слева все небо черное, – говорит он. – Атмосферный фронт прет с севера. Улепетываем на юго-восток. Я сам летчик, в Читинском авиаотряде работаю. Тут такие грозы – не дай бог.

– Нам действительно беспокоиться не о чем? – спрашиваете вы. – Гроза нас не догонит?

– Куда ей. У «двенадцатого» скорость 400 км/ч, – успокаивает летчик. – Только бы в нисходящий поток не угодить. От этого «ашка», бывает, глохнет. У нас говорят «задыхается».

– Кто глохнет?

– Двигатель «АШ-82». Но это очень редко бывает, а чтобы сразу оба – почти никогда. Нервирен ни хт, папаша. Лучше поглядите вниз! Ух ты, вон он какой!

Он привстает, наклоняется над вами, смотрит в иллюминатор.

Вы тоже поворачиваете голову. Видите странную гору. Ее лесистые склоны поднимаются к белому кольцу, внутри которого идеально круглая долина, тоже вся поросшая деревьями, а посередине черное пятно. Похоже на око со зрачком.

– Это вулкан Окобога. Четвертый год тут летаю, а над ним никогда не бывал – здесь вообще-то нелетная зона. Турбулентность, воздушные ямы. Нас сюда по необходимости занесло.

– Вулкан? – удивляетесь вы.

– Был вулкан. Может, мильон лет назад. А сейчас заповедные места. Ни дорог, ничего. Глухота. Картографы с воздуха съемку делали. Черный кружок – это незамерзающее озеро. Километров двести отсюда до ближайшего жилья.

– Почему же здесь никто не живет?

– На кой? – пожимает плечами ваш собеседник. – Полезных ископаемых тут нет. Лес рубить – его везде полно. У местных про эти края дурная слава, сюда даже буряты-охотники не ходят соболя бить. Вулкан по-ихнему называется Ухэл-хада, Гора Смерти.

Последние два слова звучат очень громко. Вам кажется, что летчик их выкрикнул.

– Опля, – бормочет ваш сосед. Его грубое, обветренное лицо вдруг становится неестественно белым. – Приехали...

– Куда приехали? – не понимаете вы.

– Не слышите, что ли? Двигатели встали. Оба.

Он тычет пальцем в иллюминатор. Вы видите, как пропеллер на крыле замедляется, останавливается.

– Что это значит? – спрашиваете вы.

Летчик не отвечает. Он бежит по проходу в носовую часть самолета.

– Товарищи, пристегните ремень безопасности! – кричит бортпроводница. Голос у нее тонкий, с дрожью.

Вы чувствуете, что вас одновременно вжимает в спинку кресла и наклоняет книзу. Белый горизонт за окном перекашивается, превращается в диагональ. Перемещаются и тучи. Теперь они в левом верхнем углу иллюминатора.

Просыпается ваша соседка.

– Ой, чего это? – спрашивает она, хлопая глазами. – Будто в детстве, на санках с горы.

Возвращается летчик – с трудом, хватаясь за спинки кресел.

– Совсем беда, – шепчет он, наклонившись. Глаза круглые, остановившиеся. – Двигатели сдохли. И рация не работает. Оказывается, в нас молния ударила. Еще полчаса назад. Тогда пилот и курс поменял. Будет на реку сажать. Тут внизу прямой участок, километра полтора.

– Значит, есть надежда? – спрашиваете вы.

– Мало. В Казани пару лет назад командир сумел посадить «пассажира» на реку, но там была чистая вода. А тут лед, поверх него снег, торосы. Перевернемся.

Вы говорите:

– То есть мы сейчас погибнем?

Вам трудно поверить, что жизнь заканчивается. Всего минуту назад вы сидели, откинувшись на мягкую спинку, любовались видом из окна, думали о предстоящей к онференции – и всё? Больше ничего не будет?

– Не-е, не сейчас, – отвечает летчик. – Минуты полторы еще есть, а то и две. Наслаждайся жизнью, папаша, а потом нам кирдык.

Он издает странный, лающий смешок.

Мария Кондратьевна отложила дочитанную страницу и подняла глаза на слушателя.

– Итак, у вас полторы минуты до крушения. На что вы их потратите?

– Я... я не знаю, – ответил Антон Маркович. Он прикрыл глаза. Представил себя в падающем самолете. И что сейчас всё закончится. Конечно, он много раз воображал, как будет умирать, что ощутит у финального выхода, в состоянии ли будет думать. Ведь чаще всего человек перед смертью находится в сумеречном сознании или вовсе без сознания, либо же больному так плохо и больно, что не до рефлексий. Пожалуй, гибель, описанная в новелле, это привилегия. В самом деле, на что бы потратить оставшееся время?

– Если бы вы были верующий, вы бы помолились, – подсказала Епифьева. – Но вы не похожи на верующего. Или я ошибаюсь?

– К сожалению, неверующий. Мои родители считали религию вредным самообманом. Ну и обстоятельства моей жизни тоже не располагали к вере в милосердного Господа...

– Наверное, вы будете думать о дочке? Как она останется одна, без вас? – задала экзаменаторша следующий вопрос, тягостный.

– Нет, – болезненно покривился Антон. – Какой смысл об этом думать? Наверное, я попытаюсь подвести итоги своей жизни... Встретить конец с достоинством... Да, очень надеюсь, что не впаду в панику и не буду просто визжать от ужаса.

Мария Кондратьевна удовлетворенно кивнула.

– На всякий случай я подготовилась и для других вариантов ответа, но ждала именно такого. Значит, это нам не понадобится...

Она отложила одну страничку, взяла другую. Текста там было немного.

Сосредоточиться на торжественных мыслях вам не удастся. Про «кирдык» летчик сказал слишком громко. Услышала ваша соседка. Услышал проснувшийся потребитель пива с водкой – от тишины и от ощущения в желудке, вызванного резким снижением.

– Ой, мама, падаем! – кричит женщина и хватает вас за руку. – Товарищ, мне разбиваться нельзя. У меня сыночка! И комнату обещали! Товарищ, мы не разобьемся? – и смотрит умоляюще, как будто это от вас зависит, разобьется самолет или нет. С таким же отчаянным выражением, как на последнюю надежду, смотрели на вас тяжело раненные на операционном столе, когда вы делали им анестезию. И вы знали: очень вероятно, ваше лицо – последнее, что видит человек в своей жизни.

Мужчина реагирует иначе. Вскрикивает, отпихивает летчика, хочет вылезти в проход.

Летчик обхватывает его за плечи.

– Куда?!

– Па...парашют дайте! У них есть! Им положено! Пусти, сука! Убью!

Они вцепляются друг в друга. Пассажиры с передних рядов оборачиваются.

Летчик шипит на вас:

– Помогите, мать вашу! Он сейчас панику устроит. Тогда вообще шансов не будет! Да не сидите вы!

– Ваши действия? – спросила Мария Кондратьевна, с любопытством глядя поверх очков. – Вы оттолкнете женщину и кинетесь помогать летчику?

– Я... наверное, я не смогу ее оттолкнуть. Ну и потом, вряд ли от меня будет прок в драке. Опять же летчик сказал, что самолет все равно перевернется в снегу... Лучше уж напоследок сделать что-нибудь... доброе. Я скажу женщине, что ничего страшного не произойдет, что мы сейчас приземлимся и всё будет хорошо.

– Так-так, – деловито пробормотала Епифьева, сделала какую-то пометку и выбрала из стопки страницу. – На следующем этапе от вас потребуется развернутый ответ. Вам удастся успокоить соседку. В отличие от вас она умеет молиться или, может быть, вспомнила слова из детства. Женщина выпустила вашу руку, закрыла глаза, забормотала «Отче наш иже еси на небеси».

Река стремительно приближается. До вынужденной посадки остается полминуты, много – минута. Вы решаете дать оценку тому, как вы распорядились своей жизнью. *Каким* вы были? Хорошим или плохим, достойным или недостойным? Поставьте себе оценку. Ну же, времени мало!

Она взяла ручку, приготовившись записывать.

– Каким я... был? – переспросил Антон.

А действительно, каким?

– Недостаточно сильным, к сожалению. Даже совсем не сильным... Я пытался, честно пытался вести себя правильно, но не всегда получалось... Это худший мой недостаток. Больше, чем недостаток. А лучшее, что во мне есть, то есть было, это желание разобраться и понять, как всё в жизни устроено. И главное – зачем...

– Отлично, – пропела старуха, скрепя пером по бумаге. – Первая стадия, определяющая баланс «рацио-эмоцио», у нас закончена. Основной параметр «Восприятие мира» полностью «рацио». «Восприятие людей» пополам: выбор поступка эмоционален, методика утешения – рациональная. «Восприятие себя» беспримесно рациональное, никакого самовозвышения или самобичевания. Сорок плюс пятнадцать плюс тридцать... Вы – «рацио» восемьдесят пятой, то есть высокой пробы. Переходим ко второй стадии.

– А она про что?

– Это я объясню, когда мы ее завершим.

Епифьева пододвинула довольно толстую стопку бумаги.

– Как видите, вариант заготовлен только один. После блиц-тестирования я была уверена, что вы «рацио», и не стала тратить время на подготовку «эмоциональной» ветви. Вот насчет следующего параметра я не вполне уверена, поэтому, чтоб не ошибиться, ввожу тройную проверку. Готовы?

Самолет вот-вот коснется колесами заснеженной поверхности реки.

К вам нагибается летчик. Он только что отправил буяна в нокаут мощным ударом в голову.

– А может, и обойдется, – лихорадочно шепчет он. – Гляди, торосов-то нету! Ветрами сдуло. Авось не перевернемся! Но тут вот что. «Илюха» – это двадцать тонн. Остановится – лед такую махину навряд ли выдержит. Не расшибемся, так потонем. В общем короче: махну рукой – дуй за мной.

– Куда? – спрашиваете вы. – Зачем?

– Вон туда, – показывает он назад, на дверь самолета. – Пока будем катиться, я поверну рычаг, открою. Скорость замедлится – выпрыгнем. Только тихо. Коли все к двери кинутся – ни хрена у нас не выйдет.

Самолет подпрыгивает, ударившись о твердь. Подскакивая, несется вперед.

– Давай, пора!

Летчик хватает вас за руку, тащит за собой. Идти трудно – вас кидает из стороны в сторону.

Лязг металла – это решительный человек рванул вниз рычаг. Из открывшегося проема дует холодным ветром. Внизу взвихрится снежная пыль. Прыгать далеко – как с высокого второго этажа. Вам очень страшно.

– А лед точно не выдержит? – спрашиваете вы.

– Бес его знает. Может, и выдержит, – отвечает летчик. – Но я прыгну. Дело вкуса, но я лучше шею себе сверну, чем в ледяной воде тонуть. Ты как?

– Спрошу то же самое и я. Вы как, Антон Маркович, прыгнете или останетесь?

Клобуков заколебался.

– Глупо получится, если прыгнешь и переломаешься, а самолет не утонет... Даже если не переломаешься. Стыдно потом будет на остальных пассажиров смотреть... С другой стороны, если останешься, а лед не выдержит... Эти последние секунды, когда провалишься вниз, черная вода за иллюминатором, еще живой, а уже ничего не изменишь... Знать, что имел шанс на спасение и не воспользовался им... Да еще из-за того, что испугался прыгнуть... Знаете, я, наверное, решил бы прыгнуть.

– Угу, – пробормотала Епифьева, что-то помечая. – Посомневались, но прыгнули. Хорошо. Идемте дальше.

Вы смотрите в открытую дверь, на несущуюся внизу белую поземку, готовитесь к прыжку. Вдруг вас сзади дергают за рукав.

– Гражданин, не бросайте меня! Я с вами!

Это соседка. Она смотрит на вас отчаянным взглядом. Вы понимаете, что в этих страшных обстоятельствах стали для нее единственной опорой, за которую она может уцепиться.

– Я буду прыгать. Туда, – показываете вы в пугающую пустоту.

– Тогда я тоже, – говорит женщина.

Из передней части салона, качаясь то влево, то вправо, бежит, машет рукой бортпроводница.

– Немедленно сядьте и пристегнитесь! Кто открыл люк раньше времени?

Самолет сбавил ход, вот-вот остановится.

Летчик говорит:

– Я первый, вы сразу за мной.

Берется руками за края двери.

Проводница хватает его за плечи.

– Вы с ума сошли! Расшибетесь!

– Хочешь жить – сигай за нами, – бросает он. Бешено кричит: – В атаку! Ура-а-а!!

Прыгает вниз.

Вы, стиснув зубы, за ним.

Оказывается, что слой снега довольно толстый. Падение получается шадящим. Вы катитесь кубарем, вы оглушены, но целы.

Видите, как поднимается облепленный снегом летчик. Ощупывает себя. Смеется.

Поворачиваетесь в другую сторону. Женщина сидит, разинув рот, платок соскочил с головы на плечи.

Вы бросаетесь к ней:

– Ничего не сломали?

Похоже, что нет.

Выпрыгнула и бортпроводница. Она стонет, держится за локоть.

Вы наскоро проверяете – кости целы, вывиха нет, просто ушиблась.

Получается, что все четверо спрыгнули удачно. Но обрадоваться этому вы не успеваете.

Раздается оглушительный треск. Это подламывается лед под остановившимся самолетом. Он оседает наполовину, удерживается на крыльях. Секунду-другую кажется, что всё обошлось, люди спасены. Но снова затрещало, и стальная туша уходит вниз, остается только огромный пролом, над которым мгновение спустя вздувается пузырь.

– Полундра! – кричит летчик, потому что по направлению к вам с ужасающей быстротой протягивается змеящаяся линия трещины. Вы еле успеваете отскочить.

Бортпроводница пронзительно визжит, женщина в платке заходится рыданиями, летчик матерно ругается.

– На берег, быстро! – приказывает он. – После поплачем! Как бы новые трещины не пошли!

Все вы, проваливаясь в снег, бежите к обрыву, над которым темнеют стволы сосен.

– Не оборачиваться! – покрикивает летчик. – Раскисать некогда! В темпе, в темпе, не то померзнем к чертям собачьим. Эх, бушлат не взял, не до того было.

Одеться не успел никто. Вы в пиджаке, ваша соседка в вязаной кофте, бортпроводница вообще в форменном жакете и туфлях-лодочках.

Все, задыхаясь, лезут вверх по крутому откосу. Женщину приходится тянуть за руку, девушка-проводница справляется сама.

Наверху вы оборачиваетесь. Видите белую реку, на ней черный крест – след сгинувшего самолета, тянущиеся во все стороны

трещины – будто лучи.

Молчание. Никто не читает молитву по погибшим, все – советские люди. Летчик говорит: «Эхе-хе...». Женщина всхлипывает. Девушка бормочет: «Степан Петрович, Вася... Что я Васиной матери скажу?».

– Не переживай, – обрывает ее причитания летчик. – Скорей всего ничего ты ей не скажешь. Загнемся мы тут. Если будем сопли распускать – наверняка.

– Нас скоро найдут, – убежденно отвечает проводница. – Сейчас в каждой области есть спасательные отряды, вертолетные.

– Никто нас не найдет, дура! Они не знают, где искать. Полчаса рация не работала. А до жилья тут неделю тайгой шкандыбать. Кроме как на себя нам рассчитывать не на кого.

«Тогда мы пропали. У нас ни теплой одежды, ни продовольствия», – думаете вы, но вслух этого не говорите, чтобы не пугать женщин.

Летчик, однако, не миндальничает.

– Жратвы у нас нет. Ночью, хоть и март, приморозит – до минус десяти уж точно. Поэтому ввожу армейскую дисциплину. Мое слово – приказ. Как скажу, так и делаете. Без споров, без нытья. В сорок первом я роту из окружения вывел, и вас выведу.

– Да как? – не выдерживаете вы. – Через пару часов стемнеет. Сами говорите – начнет холодать. Мы и до утра не доживем!

Он отвечает не сразу, сначала что-то прикидывает.

– Сейчас в темпе движемся туда, к вулкану. – Показывает на виднеющуюся между сосен гору. – Нужно засветло подняться как можно выше, чтобы сориентироваться на местности. Тут к востоку где-то другая река, Онон. Может, ее сверху видно. Пойдем по ней – больше шансов, что выйдем к людям. Там в низовьях лесоповалы есть. В путь отправимся до рассвета. Дни короткие, нужно успеть пройти максимум. Ходьба согреет. Питаться будем кедровыми орехами, их тут полно. Ночью разведем костер. У меня зажигалка. Вопросы есть? Вопросов нет. Рота, выходи на построение!

Тут он посмотрел на ноги проводницы, крикнул.

– Нет, девка, в такой обуви ты далеко не уйдешь. Мы вот чего сделаем...

Скидывает свою кожаную куртку. Под ней фуфайка. Берет крепкими руками, раздирает надвое.

– Портянки наматывать умеешь? Дай я. Ногу подыми!

Быстро и ловко, прямо поверх туфель, обматывает ступни.

– Как в валенках. Теперь не обморозишься. Всё. За мной – марш!
Бодрей, бодрей!

Он и потом всё время вас подгоняет, не дает передышки. Идти по снегу легче, чем вы ожидали. Сверху он прихвачен крепким настом, ноги почти не проваливаются. Но через полчаса начинается подъем. Карбкаться в гору гораздо труднее. Приходится хвататься за ветки кустов, за стволы деревьев, а неумолимый командир покрикивает: «Живей, живей! Наверху отдохнем!».

Вы намного старше остальных, вам очень трудно. Изо всех сил вы пытаетесь не отстать. Подскальзываетесь на обледеневшем насте, летите кубарем в яму. Сильная боль в голени. Хруст. Будучи врачом, вы сразу понимаете, что сломана малоберцовая кость.

«Как глупо, – проклинаете себя вы. – Лучше уж было утонуть с самолетом. По крайней мере быстро».

– Я сломал ногу, – говорите вы товарищам сквозь зубы. – Со мной всё. Идите, идите. Не теряйте времени. Скоро начнет темнеть.

Летчик раздражается матерной тирадой. Чешет затылок. Спускается.

– Ну-ка на спину!

Грубо берет вас под мышки, выволакивает из ямы.

– Раненых не бросаем, – говорит он. – Устав запрещает. Короче так, папаша. Оставляю тебе зажигалку. Разведи костерок. Сумеешь? Веток насобирай, поползай как-нибудь. Я за тобой вернусь. По огню я тебя и в темноте найду. Шину как-нибудь сооружу. Видел на войне, как это делается.

– Сам наложу, – отвечаете вы глухим голосом, потому что глубоко тронуты. – Я врач.

– Ну и лады. Вперед, гражданки! За мной.

И ваши спутники продолжают подъем.

Оставшись один, вы делаете импровизированную шину. Находите два подходящих сука, фиксируете травмированный участок. Опираясь на палку, собираете хворост. Разжигаете огонь. Всё это занимает немало времени. Уже сгустились сумерки, становится темно.

Вы подложили лапник, чтобы не застудиться. Сидите, вытянув больную ногу. Смотрите на пламя. То и дело подбрасываете новые

ветки. Выковыриваете орешки из кедровой шишки, хоть есть вам не хочется – слишком много было переживаний.

Но, сколько вы ни ждете, летчик не возвращается. Ни через час, ни через два...

Чтение продолжалось так долго, что Антон даже вздрогнул, когда Епифьева спросила его:

– Итак, вы просидели у костра уже два часа. А с момента, когда вы расстались, прошли все четыре. Что вы будете делать дальше? Ждать или подниматься по следам?

– Ждать. Он же велел. Вероятно, подъем занял у них больше времени. Или еще с кем-нибудь что-то случилось. Ну и вообще. В темноте, со сломанной ногой...

Мария Кондратьевна кивнула, сделала пометку.

– Хорошо. Прошел еще один час. Ваши действия?

– Жду.

– Опять никого нет.

– Тогда я начинаю уже всерьез беспокоиться. Не за себя, а за них...

Что если случилась беда с нашим командиром и женщины в растерянности?

– Так, значит, поднимаетесь?

Подумав, Антон сказал:

– Как только забрезжит рассвет. Не раньше. В темноте не рискну.

– Это двадцать, – резюмировала сама себе экзаменаторша.

И взяла новую страницу.

Едва лишь мрак стал рассеиваться, вы начинаете трудный путь вверх по склону. На исходе ночи вас сморил сон, костер погас, и вы очень замерзли. Но подъем требует таких невероятных усилий, что скоро вам уже жарко.

Вы опираетесь на две палки. Приходится прыгать на одной ноге. Через некоторое время вы приспособливаетесь, получается уже ловчее. Ночью вы сделали из коры довольно удобный лубок, и болевой синдром почти купирован, но все равно восхождение очень медленное, и через каждые тридцать-сорок скачков нужно давать себе отдых.

Следы отчетливо видны. Снег ночью не шел. Чем выше вы поднимаетесь, тем светлее становится. Деревья прорежаются. Вот

наконец видна голая, каменистая вершина горы – верней кромка кратера, ведь это древний вулкан. Судя по цепочке следов, вчера ваши товарищи добрались-таки до самого верха.

Вдруг вы видите их, всех троих. Они сидят, привалившись спинами к огромному поросшему мхом валуну.

Поразительно то, что самая макушка горы ярко освещена солнцем – в густо затянутом тучами небе небольшое окошко. Оттуда вниз, будто луч прожектора, льется яркое золотое сияние. Снег ослепительно сверкает.

– Это я! – кричите вы. – Эге-гей!

Раскатывается эхо. Но ваши товарищи не откликаются. Вы догадываетесь, что, изнуренные подъемом, они крепко спят, и решаете не будить их раньше времени. Ничего, как-нибудь доковыляете сами. Ведь столько уже пройдено.

Внезапно просвет в небе исчезает, тучи смыкаются. Будто закрылось око.

Всё делается тусклым, серым.

Вы останавливаетесь, не дойдя до громадного камня каких-нибудь двадцати шагов – вы совершенно выбились из сил. Вблизи оказывается, что утес похож на грубое изваяние: голова, покатые плечи, груди. Такие каменные бабы стоят на древних курганах.

Вы замечаете нечто очень странное. У летчика и женщин лица прикрыты чем-то красно-оранжевым. Делаете еще несколько шагов и видите: нет, это сами лица неестественно яркого цвета.

Кидаетесь вперед.

Все трое сидят неподвижно. Глаза открытые, остекленевшие. Рты разинуты. Но жутчее всего невероятный оттенок кожи – будто она покрыта краской.

Никаких сомнений. Ваши спутники мертвы.

Вокруг очень, очень тихо.

– Ваши действия?

– А? – невежливо переспросил Антон, пораженный неожиданным поворотом сюжета.

– Как вы поступите? С вашими товарищами явно произошло нечто страшное. Помочь им уже нельзя. Очень возможно, что вас в этом

месте тоже подстерегает опасность. Вы подойдете к мертвецам или поскорее уйдете оттуда?

– ...Если там что-то опасное, на одной ноге все равно не убежать, – сказал Клобуков, подумав. – Оранжевые лица? Это что-то непонятное. Как же уйти, не разобравшись?

– Вот так так, – расстроилась Епифьева. – У меня сбой. Предварительно я вас диагностировала иначе. Я думала, вы «освоитель», почти все медики относятся к этой группе. А вы минимум на 80 процентов «искатель». Возможно, вам следовало выбрать другую профессию. Что ж, тогда нам понадобится вот этот вариант...

Она пошелестела листьями.

Вы осматриваете тела, но причину смерти установить не можете – лишь примерное время: восемь-десять часов назад, то есть вскоре после наступления темноты. В момент остановки сердца все трое были в статичном состоянии – сидели точно в такой же позе, привалившись спиной к странному камню. Однако, судя по выражению лиц, находились в сознании. Даже у мужественного летчика, повидавшего на своем веку много всякого, черты искажены ужасом.

Никаких повреждений на телах вы не обнаруживаете. Следы на снегу оставлены только вашими товарищами. По отпечаткам можно вычислить, что, поднявшись сюда, на вершину, люди сели под истукана – вероятно, чтобы отдохнуть после восхождения. И больше уже не встали.

Вы оглядываетесь по сторонам, вспомнив, что летчик надеялся разглядеть с высоты вторую реку – Онон. И действительно видите на востоке, километрах в десяти, белую ленту. Но вы замечаете кое-что еще.

Недалеко, но и не очень близко, примерно в полусотне шагов, снег истоптан.

Вы идете туда. Видите отпечаток широких лыж. Кто-то был здесь, и недавно. Поднялся изнутри кратера. Постоял, переминаясь с ноги на ногу. Потом спустился обратно.

– Что будете делать? – спросила Епифьева, беря ручку. – Вы на кромке вулкана. Там, внутри, кто-то есть. Может быть, этот человек вам поможет. А может быть, наоборот, он представляет собой угрозу. Ваши

действия? Спуститесь в долину, направитесь в сторону реки Онон или поступите как-то иначе?

– Нужно подумать.

Антон Маркович стал размышлять вслух.

– Со сломанной ногой, без навыков выживания в зимней тайге, ни до какого лесоповала я не доберусь. Правда, зажигалка не даст замерзнуть, а орехи – ослабеть от голода. Но все же шансы спастись близки к нулю. Я никак не герой «Повести о настоящем человеке»... Хм. Неизвестный человек на лыжах мне сильно не нравится. Если он и не был причиной гибели моих спутников, то уж точно не оказал им никакой помощи. Даже не приблизился проверить, живы ли они... С другой стороны, вряд ли лыжник живет в кратере один. Может быть, там есть и другие люди... Знаете, что я сделаю? Я спущусь в долину по лыжному следу и попытаюсь осторожно, из укрытия, понаблюдать за тем или за теми, кто там обитает.

– Неавантюрен, осторожен, непассивен, – довольно громко пробормотала Мария Кондратьевна, делая пометки. – Хорошо. Тогда нам понадобится вот эта глава, где тестируемый спускается внутрь вулкана.

Первым делом вы готовитесь к спуску. Вам не до сантиментов. Нужно максимально утеплиться, захватить с собой всё, что может пригодиться.

Вы снимаете с мертвого летчика кожаную куртку, которая ему больше не нужна. Обматываете шею цветастым платком вашей бывшей соседки по ряду. Обшариваете покойников. Находите разные атрибуты цивилизации, в данных условиях абсолютно бесполезные: документы, кошельки, папиросы, пудреницу. Единственная полезная вещь – складной нож в кармане у летчика.

Находка позволяет вам срезать несколько больших веток с растущей неподалеку молодой пихты. Вы сооружаете из них подобие санок.

В тучах прямо над вами вновь проглядывает сине-золотое оконце. Яркие лучи слепят вас. Начинает кружиться голова, в глазах странное двоение. Но минуту спустя облака снова смыкаются, и дурнота отступает.

Вы садитесь на свои импровизированные салазки. Отталкиваясь палками, начинаете спуск. Скоро приходится теми же палками притормаживать, чтобы не разогнаться слишком быстро.

Вы движетесь прямо по следу. Точно так же не столь давно здесь скатился неведомый лыжник.

Всего через несколько минут вы оказываетесь внизу, в густом лесу.

В долине намного теплее, чем за пределами кратера. Похоже, что здесь некий особый микроклимат. Там, в большой тайге, еще зима, а тут снег наполовину сошел, повсюду лужи, белеют подснежники.

А еще вы видите тропу. Таковую один человек не протопчет.

На тропе снега нет. Лыжник двинулся дальше параллельно, а вам удобнее ковылять по голой земле.

Через некоторое время делается совсем светло. Во-первых, опять засветило солнце и уже больше за тучами не прячется. Во-вторых, деревья редуют. Впереди поляна.

На поляне несколько изб. Вы прячетесь за густой елью, наблюдаете.

Избы странные – как на картинке про допетровскую Русь. Вы видели такие на гравюре в книге Олеария «Описание путешествия в Московию». Крыши из древесной коры, окна очень маленькие и тусклые – кажется, не стеклянные, а затянутые какой-то полупрозрачной пленкой.

Скоро вы видите и людей. Они гурьбой выходят из большого бревенчатого дома с башенкой. Судя по кресту – восьмиконечному, старообрядческому – это церковь.

Выглядят все диковинно, словно народная массовка из фильма «Минин и Пожарский». Мужчины бородаты, одеты в длиннополые армяки. Женщины в черных платках, платья до земли. На ногах у всех валенки или лапти.

Вы начинаете догадываться, что это за люди. Какое-то время назад вы читали в газете, что в глухих уголках Сибири до сих пор иногда обнаруживают тайные поселения раскольников, которые когда-то ушли на край света, спасаясь от преследований, и поколениями существовали безо всякого контакта с государством и цивилизацией. Должно быть, в погасшем вулкане Окобога, куда никто никогда не забредает и где даже топографическую съемку делают с воздуха, сохранилась одна из таких общин.

Но вы не торопитесь себя обнаруживать. Религиозные фанатики могут быть и опасны. Случилось же что-то с вашими бедными спутниками.

Жители потерявшейся во времени деревни чем-то возбуждены. Похоже, в церкви была не служба, а какое-то собрание, теперь продолжающееся снаружи. Все шумят, кричат, размахивают руками. Вы можете разобрать только отдельные слова, смысл их непонятен.

– Ковениру надоть!

– А ён тож само и сrechёт! Апосля ковениру! Сволочем в ледовую – тада.

– Каталы-то где, каталы?

– Вона, вона!

Все заоборачивались. По весенней грязи, по лужам, по недотаявшему снегу волокут трое саней – вы догадываетесь, что это и есть «каталы».

Еще немного пошумев и, видно, как-то между собой договорившись, все трогаются с места. Мужики, разделившись на кучки, тянут сани. Бабы идут следом. Процессия направляется в вашу сторону. Вы приседаете, чтобы лучше спрятаться.

Теперь вы можете рассмотреть лица ближе. Они не похожи на те, что вы привыкли видеть в обычной жизни. У всех, даже немолодых, удивительно свежая, чистая кожа, движения какие-то невероятно легкие, можно даже сказать грациозные. И совсем другая, непривычная мимика.

Вы слышите обрывки разговоров, но они опять непонятны. Часто звучит слово «сторожиха» и многие поминают какое-то око.

Вот деревня опустела. В ней никого не осталось. Так вам, во всяком случае кажется. Вы вдруг чувствуете, что ужасно голодны. Не воспользоваться ли тем, что все ушли, и не поискать ли съестного, колеблетесь вы.

Но скоро выясняется, что ушли не все.

Из крайней избы выходит старуха в большущих стоптанных валенках. Она тащит санки.

Переваливаясь с ноги на ногу, старая женщина движется прямо на вас. Вы опять прячетесь.

– Как печева, пирогов подóвых, так Акимовна-ластонька, а как уважить, так шиш, – слышите вы сердитое бормотание. Физиономия у

старухи злющая, как у ведьмы.

Вы ощущаете аппетитный запах выпечки. На санках лежит что-то, обернутое в медвежью шкуру. Кажется, завернуты пироги, чтоб не остыли.

И вы вдруг понимаете: вот оно, спасение. Старуха никакой опасности не представляет. Можно отобрать у нее санки. Медвежья шкура и запас продовольствия – это шанс. Пригодятся вам и валенки. Можно выбраться из долины, пока деревенские отсутствуют. Вы догадались, что они отправились за телами ваших товарищей – это надолго. Санки облегчат вам передвижение по реке Онон. Можно опереться на них коленом больной ноги, а второй отталкиваться – это ускорит движение.

– Как вы поступите, Антон Маркович? Человек, лишенный рефлексий, пожалуй, попросту уколошил бы старушку. Я понимаю, вы этого не сделаете. Но отобрать санки ради спасения своей жизни, ей-богу, грех небольшой.

Клобуков представил, как будет стаскивать с перепуганной старообрядческой дамы валенки.

– Нет, исключено. Я лучше понаблюдаю за деревней еще. Может быть, эти люди не такие уж страшные.

– Хм. Здесь никаких сюрпризов... – Сделала какую-то пометку. – Стало быть, мы даем старушке тащить свои пироги туда, куда она их тащит, и переходим вот к этой странице...

Скоро появляется еще одна обитательница деревни. Это девочка-подросток. Она сильно припадает на ногу. Тащит на голове огромную корзину с каким-то тряпьем. Хромает от домов куда-то вглубь леса.

Вам приходит в голову, что самый безопасный способ понять, помогут вам эти дикие люди или лучше поскорее убираться отсюда – поговорить с этой девочкой. Вреда вам она не причинит. Поднимет крик – взрослые далеко. И убежать от вас ей трудно – она такая же калека, как вы.

Вы очень устали, ужасно голодны, и в любом случае нужно на что-то решиться.

Поэтому вы идете за девочкой. Вы намерены ее остановить подальше от домов, где никого не будет рядом, и попытаться вступить с

ней в беседу.

Вы оба ковыляете по тропинке через чащу. Девочка не подозревает, что сзади кто-то есть, напевает звонким голосом какую-то песню со странной мелодией.

Слышится журчание. Впереди проточная вода – должно быть, деревенские полощут там белье.

Расщелина шириной метров в пять. Через нее перекинута узкая доска. Хромоножка, очевидно, привыкшая к этому жутковатому мостику, бесстрашно перебирается на ту сторону, исчезает за утесом.

Вы подходите к краю, заглядываете вниз. Там, метрах в трех, бежит горный ручей, блестят камни, в воздухе из-за водяной взвеси висит радуга.

У вас дилемма. Переходить на ту сторону по хлипкой доске, да еще с вашей сломанной ногой рискованно. Что вы решите? Пойдете по доске или нет? Представьте себе: деревяшка шириной двадцать сантиметров, внизу острые камни...

– Сказать я могу что угодно, но в реальной жизни я и на двух здоровых ногах по доске не пошел бы, – честно ответил Антон. – Я бы подождал, пока девочка пойдет обратно.

– И это подводит нас к четвертому этапу, – торжественно объявила Мария Кондратьевна. – Берем вот эту стопку...

Вы движетесь вдоль обрыва и видите, что ниже теснины ручей разливается вширь, а потом опять сужается, зажатый утесами. Девочка на противоположном берегу, под скалой. Там удобный подход к воде, устроены мостки.

Она полощет белье и распевает во всё горло.

Вы можете наблюдать за ней издалека, но тогда вам не будет слышно, что она поет. Или же можно прокрасться кустами до следующего утеса. Тогда вы не сможете видеть певунью, но окажетесь прямо над ней и, вероятно, разберете слова песни.

Что вы предпочтете?

– Конечно, я буду смотреть. Может быть, пойму, как к ней лучше подступиться. А поет она скорее всего какое-нибудь фольклорное ай-люли.

Епифьева вздохнула.

– Значит, песня нам не понадобится. Жалко. Я ее столько времени сочиняла. Ладно. Убираю эту страницу.

– Нет-нет, – запротестовал Антон. – Давайте я послушаю, что она поет.

– Так не положено. Решили наблюдать без звука – наблюдайте.

Несмотря на увечную ногу, девочка очень подвижна. Она ни секунды не находится в покое. При этом не всё время работает – постоянно на что-то отвлекается. Вот разинула рот, смотрит на низко летящую сороку, что-то кричит ей, машет рукой. Потом заинтересовалась чем-то в воде, вылавливает веткой, рассматривает, прицепляет себе на лоб, к платку. Кажется, это рыба чешуя – она поблескивает на солнце. Девочка, наклонившись, рассматривает свое отражение, вертит головой, чтобы точка на лбу посверкала. Но и работа у нее идет споро. Корзина быстро пустеет, а потом так же быстро наполняется уже прополосканным бельем.

Всё. Вскочила. Захромала обратно к доске.

– У вас минута-другая, чтобы решить, как вы поведете разговор, от которого будет так много зависеть. Ну-ка, каково ваше предварительное впечатление от девочки?

– Непосредственна, импульсивна, существует в очень замкнутом мире, ограниченном пределами кратера. В ее жизни огромную роль играют религия, традиции, всякого рода суеверия... – стал перечислять Антон. – Наверняка имеет весьма туманное, насквозь мифологическое представление об устройстве природы. Хромая – значит, не может полноценно участвовать в играх с ровесниками. Вероятно, привыкла быть сама по себе... Не знаю, что еще.

Епифьева покивала, быстро записывая.

– И тем не менее вам пора ей показаться. Много будет зависеть от того, как вы это сделаете. Вы вернулись к месту, где девочка перейдет расщелину. Что – просто выйдете из-за куста? Или сначала подадите голос?

– Дайте подумать... Главное ее не испугать. Это будет трудно, она ведь скорее всего никогда не видела чужих. Вторая задача, тоже

непростая, – нужно сразу ее к себе расположить... Хм. Нужно, чтобы я был в пассиве, а она в активе.

– Как это?

– Если я выйду к ней или ее окликну, то активность проявлю я, а девочка окажется пассивным рецептором. Это нервирует, пугает.

– Любопытно. А как может быть иначе?

– Она должна увидеть меня раньше, чем я ее. И так, чтоб не испугалась, а ощутила... например, любопытство. Вот что я сделаю, – окончательно вовлечусь в игру Антон. – Я положу на тропинку цветастый платок, которым замотана моя шея. Вы же помните, я взял его с собой?

– Так-так.

– В домотканном, блеклом гардеробе нашей героини ничего яркого никогда не было. Она обомлеет, когда увидит такую красоту с ярко-красными цветами. А потом услышит тихий, жалобный, совсем не страшный звук. Посмотрит вокруг и увидит стонущего человека без сознания – меня. Пугаться такого не приходится. К тому же девочка поймет, что невероятно красивая вещь как-то со мной связана. Может быть, девочке все же захочется убежать, но тут я тихо и жалостно попрошу воды... Нет, чтобы она не вообразила, будто я бес или леший – раскольники ведь суеверны, – я обязательно помяну Христа. «Доченька, Христа ради, водицы испить...». Что-нибудь в этом роде. Ну как?

– Довольно неожиданно, – деловито ответила исследовательница, записывая. – Не вполне совпадает с моим прогнозом. Тип «Ученый», это теперь ясно. Сугубо головные умозаключения. Не обратили внимания, что хромоножка любовалась своим отражением. Значит, чтобы расположить ее к себе, не мешало бы вернуть что-нибудь типа «какая ты красивая». Зато нетипичное для «Ученого» довольно точное понимание девичьей психологии...

– Ой, – спохватилась Мария Кондратьевна. – Что же это я вслух-то! Не слушайте, это может вас сбить. Так. Теперь у нас будет пьеса. Вы – это вы. Я – девочка, от которой вам необходимо получить важную информацию. Никакого текста я заранее не приготовила. Буду импровизировать в зависимости от ваших реплик. Посмотрим, сумеете ли вы разговорить юную дикарку и добьетесь ли от нее того, чего хотите. Итак, я вас увидела. Сначала шарахнулась. Потом любопытство

взяло верх над испугом. Я не из робких. Вы могли бы об этом догадаться по тому, как лихо я перебежала по доске. Водички испить я вам пока не даю, но я не бросилась наутек и готова вас слушать.

Антон откашлялся.

– Дочка, помоги Христа ради, – сказал он, не очень убедительно придав голосу жалостность.

– Кикимора те доча, – настороженно ответила Мария Кондратьевна пискляво. – Сгинь, блазнь лесная.

– Что? – не сразу понял он. – Я не блазнь лесная, я человек. Смотри – вот, крещусь.

Вспомнил, что по-раскольничьи крестятся двоеперстно, трижды сотворил крестное знамение.

– «Символ веры» почти, коль ты взаправду человек.

Старообрядческого «Символа веры» Антон, разумеется, не знал.

– Я знаю, к вам чужие не ходят, но ты меня не бойся, – сменил он направление разговора. – Вишь, у меня нога сломана. Еле идти могу.

– Ты с Сотонинщины што ль? С энтими шед, каких Агап под Сторожихой зрел? Как она тя попустила-то?

«Сотонинщина» – это, вероятно, внешний мир, где правит Сатана, соображал Клобуков. Агап – скорее всего лыжник, чьи следы были на перевале. Значит, он не имел отношения к гибели моих спутников, а увидел их уже мертвыми. Под какой-то «Сторожихой». Надо полагать, речь о камне, похожем на каменную бабу! Как камень может кого-то «попустить» или не «попустить», непонятно. Но нужно подыграть.

– А у меня печать. С нею... с ею куда хошь пройти можно. Такое мне благословение, – на ходу сымпровизировал он.

– Кака-така печать? Анчихристова? – Епифьева перекрестилась.

– Тьфу на тя, скаженная, – перекрестился и Антон. – Гляди, язык отсохнет. На мне Архангела Гавриила печать, я – Посланец. Вот, зри.

Достал из пиджака институтское удостоверение, показал.

Мария Кондратьевна одобрительно кивнула, снова мелко закрестилась.

Клобуков развивал успех:

– У меня Послание. Кто меня обидит, проклят будет. Но Сатана, то есть Сотона мне препоны ставит. Ногу вот переломил. Мне помощь нужна. Кто в Христа-Бога верует, мне поможет, а кто не поможет – тот

слуга Сотоне. Говори мне, дева, что вы за люди? Кому молитесь, Богу или Анти... Анчихристу? Правду глаголь!

– Мы окобоженцы, мы испокон веку тут. От Анчихриста спасаемся, тайной Вести ждем. Нешто ты ее к нам принес?

Кажется, с посланием я попал в точку, подумал Антон. Вовремя вспомнил – читал где-то – про ходившее среди раскольников верование, будто Господь накануне второго пришествия явит своим избранным чадам некую благую весть. Как дальше выкручиваться – будет видно, но нужно, чтобы эти мафусаилы меня сразу не прикончили. И безопаснее иметь дело не с толпой, реакции которой непредсказуемы, а с каким-нибудь старостой или старцем, или кто тут у них.

– Принес-то принес, но явлю я весть не всем, а только... а токмо первому среди вас за Бога радетелю, – придумал он заковыристую формулировку. – Кто сей?

– Дед-Столет, а то кто ж? – изобразила удивление Епифьева. – Сведу тя к нему в Пещеру. Как ён речет, тако и будет.

Она подняла палец и продолжила своим обычным голосом:

– Пожалуй, достаточно. Будем считать, что своей цели вы достигли. Сейчас я для памяти запишу содержание нашего диалога, и мы отправимся к Деду-Столету. Но сначала вот что. Девочка говорит: «Дед с Пещеры николи не сходит. Тебе к ему надоть. Дойдешь сам али мужиков кликнуть, чтоб снесли тебя, увечного?» Вы отвечаете, что мужиков не надо, сами как-нибудь доковыляете. Встаете на ноги. Девочка говорит: «Обопришь на меня, старинушко, обыми за плечо, легче будет». Обопретесь, обнимете ее за плечо?

– Ни в коем случае, – ответил Клубуков. – Эти люди существуют в своего рода экологической колбе, куда извне не попадают болезнетворные бактерии, живущие в организме обычных людей и для нас безвредные. Но у обитателей изолированного кластера, не обладающих иммунитетом, от физического контакта может произойти контаминация с тяжелыми, возможно летальными последствиями.

– Так и запишем. Что ж, пьеса прерывается. Дальше снова идет рассказ. Вот этот.

Экзаменаторша извлекла из стопки нужную страницу.

Вам хочется узнать как можно больше про того, к кому вас ведут, чтобы понять, как с этим человеком держаться.

Сначала вы спрашиваете, близко ли до Пещеры.

– А вон они, пещеры-то, – показывает девочка на склон горы.

Вы видите там, на небольшой высоте, три черных пятна. Идти туда недалеко, с полкилометра.

– Деду правда сто лет? – спрашиваете вы.

– Какой сто. Ён завсегда был. Прабабаня рассказывает, она маленькая девчонка была, а ён, дед-то, в Пещере сидел точа-в-точку такой же, и звали его Столетом.

– У тебя прабабушка жива? – удивляетесь вы.

Удивляется и девочка.

– А чего я, хуже других? У всех есть, и у меня есть. Прадедуня прошлой зимой в Чистую сошел, а прабабаня ишшо не надумала.

Вы не вполне понимаете сказанное, но вам сейчас не до родственников вашей провожатой. Нужно разобраться с раскольничьим предводителем. Ваша судьба зависит от него.

– А какой он, Столет?

– Известно какой. Скрозь глядит, ничего не стаишь.

Девочке не терпится поскорее привести «посланца» к большому человеку. Она бойко хромает впереди, вы все время отстаете. Тогда девочка оборачивается и начинает в свою очередь засыпать вас вопросами. Ей интересно всё: каково «грязным» живется под Анчихристом, да видали ли вы Сотону или хотя бы чертей, да правда ли, что мужики в миру ходят срамно, а бабы простоволосы? Пробриться через эту трескотню непросто.

– Почему от Столета ничего не утаишь? – спрашиваете вы. – Он что, грозный? Покарает за неправду?

– Не, Дед-Столет не карает, – отвечает девочка. – Токо ему брехать нельзя. Враз чует.

Начинается подъем в гору, трудный для вас обоих. Беседа прерывается.

Вы видите, что черные пятна – это вход в три пещеры. Расстояние между ними шагов тридцать. Девочка ведет вас в ту, что слева.

Вы останавливаетесь. Говорите, что устали и хотите перевести дух. На самом же деле вам нужно внутренне подготовиться.

– Часто здесь бываешь? – спрашиваете вы.

– Неа, – шепотом отвечает девочка. – Старики – те ходят, когда надо. А нам ни-ни. Токмо на Рождество и на Пасху. Ён десницу вот тако

вот на макуху кладет. То-то тепло, то-то сладостно! Но с посланцем-от, который Весть принес, я чай, мне можно, – говорит она, убеждая сама себя.

– Итак, Антон Маркович, сейчас вы предстанете перед неведомым Дедом-Столетом. Как вы с ним себя поведете? Как носитель передовой цивилизации с отсталым дикарем? Как с духовным отцом? Как с равным? От вашей линии поведения будет зависеть, сумеете ли вы выбраться из этой ситуации.

– Как я себя с ним поведу? – Клобуков задумчиво прищурился. – Человек, который очень долго живет на свете и управляет общиной при помощи не страха, а авторитета, несомненно является личностью незаурядной. Упоминание о том, что он «глядит сквозь», заслуживает внимания. Скорее всего Сто лет – превосходный психолог и очень умен. Я буду с ним предельно искренен и честен. Разумеется, чрезвычайно почтителен, но без искательности. Несмотря на невыигрышность моего положения, я обладаю определенными преимуществами перед местным лидером. Как представитель современного мира, я гораздо лучше информирован, владею различными недоступными ему знаниями. Наконец я опытный медик, что тоже важно. Конечно, я буду вести себя по ситуации, но постараюсь направить разговор так, чтобы мой собеседник ощутил мою... ну что ли полезность.

– «...Ощутил полезность», – повторила Епифьева, записывая. – Переходим к последнему разделу теста. Он состоит из трех фрагментов. «Искренен и честен», сказали вы? Тогда нам понадобится вот этот вариант. Готовы?

У входа в левую пещеру ваша проводница велит обождать и входит одна, сначала несколько раз перекрестившись и пошептав молитву. Вы довольно долго стоите один. Рассматриваете старинный, потемневший образок, врезанный прямо в стену над дырой, оборачиваетесь на долину. Отсюда хорошо видно, что гора смыкается над ней почти идеальным кругом.

Наконец, хромая, выходит девочка.

– Ступай. Попустил. Мне наказал тута бысти.

Внутренне собравшись, вы идете на аудиенцию с правителем этого зачарованного мира. Вы заранее прищуриваетесь, чтобы глаза

побыстрее привыкли к сумраку, но в небольшом пространстве с высоченным сводом оказывается неожиданно светло. Сверху сочится мягкое сияние – должно быть, в склоне есть трещина.

Вы видите стол, на нем толстая книга в ветхом бархатном переплете. За столом сидит старец. Его череп абсолютно гол, ни единого волоска, но снизу белеет длинная борода, а глаз почти не видно под густыми, кустистыми, тоже белыми бровями. На обитателе пещеры что-то черное, рясообразное. Костлявые руки с узловатыми пальцами перебирают бусины четок.

– Гряди, посланец, гряди, – звучит негромкий, но звучный голос.

Тонкие, бесцветные губы раздвигаются, доносится смешок. Вы видите, что, несмотря на возраст, зубы у Деда-Столета хоть и желтые, но все целые.

– Не позаври, что я по немощи старческой не кланяюсь земным склонением гонцу архангелову.

Вы понимаете, что ваше предварительное решение правильное: с этим человеком нужно быть откровенным. Басням про «благую весть» он не поверит.

– Я сказал про посланца, чтобы девочка отвела меня к вам, – говорите вы. – Я никакой не посланец. Мне нужно с вами поговорить. Мне нужна ваша помощь.

– Чья это «наша»? – удивляется старик, оглянувшись назад. – Ты ведаешь ли, с кем речешь?

– Ведаю, – отвечаете вы. – То есть догадываюсь. Вы – ревнители старой, в смысле истинной веры. Когда-то давно ушли от гонений спасать свои души и с тех пор живете тут, внутри горы, скрываясь от мира. Я понимаю, что чужой человек для вас – угроза. Вы не хотите, чтобы кто-то на той стороне узнал о вашем существовании. И все же мне нужно вернуться к своим. Я дам вам честное слово, зарок, поклянусь Христом-Богом, что никому и никогда не расскажу о вас. Конечно, вы не можете знать, заслуживаю ли я доверия. Но дайте мне пожить здесь, и вы меня узнаете. Все равно я еще не скоро смогу передвигаться, у меня сломана нога. Я не буду для вас нахлебником. Я врач, я могу лечить ваших больных. И вы не бойтесь, что как только нога заживет, я убегу. Без вашей помощи мне все равно в тайге не выжить, я человек городской. Прошу вас: поверьте мне, помогите мне.

Вы не уверены, что собеседник понимает вашу современную речь. К тому же он всё продолжает оборачиваться, хотя сзади никого нет.

– Кого ты тут окромя меня зришь-от? – спрашивает Столет, когда вы умолкаете. – Бесов?

– Почему бесов? Я обращаюсь к вам.

– К кому к нам?

Тут вы соображаете, что у этих людей обращения на «вы» не существует.

– К тебе, отче, – поправляетесь вы. – Я взываю к твоему милосердию. Хромая девочка сказала, что ты добрый.

Столет поднимается, подходит к вам. Движения его легки, никакой старческой немощи.

Приседает на корточки, смотрит на вашу импровизированную шину.

– Ловко сработано. Ты и вправду костоправ. А Фимке ножку спрямить сумеешь? – И громко зовет: – Эй, Евфимья!

Немедленно появляется ваша проводница – должно быть, торчала прямо у входа.

– Позри-ка на ее убожество. Жалко девку. Кто ее колченогую в жены возьмет?

– Я, дедушко, не хочу замуж! – объявляет девочка, но Столет легонько шлепает ее по макушке:

– Никшни.

Вы поднимаете холщовый подол платья, осматриваете ногу. Она не только искривлена, но и заметно короче другой.

– Это она года три-четыре назад с высоты неудачно прыгнула, открытый перелом с вывихом и разрывом голеностопных связок, – определяете вы. – Надо было не лубок накладывать, а прооперировать. Теперь ничего не сделаешь.

– Чего надо было? – переспрашивает старец.

– Восстановить соединение, зашить сухожилия, проверить, не поврежден ли нерв.

– Ты всё это разумеешь? Все лихобы врачуешь?

– Не все, далеко не все, – честно отвечаете вы. – Но с ранами работать умею. И многие болезни тоже смогу вылечить.

– Поди, поди, – подталкивает Столет девочку к выходу. – Домой беги, неча. Про этого покуда молчок. Не решил я ишшо.

Он смотрит на вас оценивающе. Из-под бровей блестят внимательные, цепкие глаза.

– Это вы там, на Сотонинщине, болестями болеете, а мы живем чисто, у нас болестей двести полусто лет не бывало. Кто хочет живет до ста годов. Долее редко кто жалуется. Устают. Я тож в Чистую сошел бы, отдохнул бы, но нельзя. Такое у меня от Бога послушание – чад пасти. Триста лет пасу, все не прибирает Господь...

– Триста лет? – недоверчиво переспрашиваете вы.

– Я при государе Алексее Михайловиче, в самый год Никоноваго иудства, на сей свет произведен, – говорит старец. – В лето от сотворения мира семь тыщ сто шестьдесят первое. При Соньке-царице за Уральский камень своих спасать повел. Сорок лет, яко Моисей, по лесным пустыням водил, покудова мы к Оку Божию не приникли.

– К чему приникли? – не понимаете вы.

– Се место заветное наречено Окобога, сиречь Око Божие. Тут с небес Ясное Око зрит, светозарит и днем, и ночью, редко когда сморгнет, тучей закроется.

Вы вспоминаете, что вчера, когда всё небо было затянуто сплошными тучами, над вулканом действительно оставалось ясное окошко. И сегодня то же самое: вдаль, за горной грядой повсюду свинцовые облака, а тут солнечно. Это какой-то природный феномен, создающий в кратере микроклимат. Вполне возможно, что именно поэтому обитатели долины не болеют и медленно старятся.

– Что такое «лечь вчистую»? – спрашиваете вы. – И девочка, Фима, тоже про это говорила.

– А покажу, тутошко рядом.

Старец манит вас за собой.

Выводит наружу, направляется в среднюю пещеру. Она много больше первой и гораздо хуже освещена – только светом, проникающим через вход.

Сначала вы видите нечто, напоминающее склад: уходящие вглубь, в темноту, ровные шеренги длинных сундуков или ящичков. Потом, привыкнув к полумраку, понимаете, что это незакрытые гробы. В них лежат высохшие, но не разложившиеся мумии. Почти все со старыми, морщинистыми лицами.

– Вот она, Чистая пещера, – говорит Столет, крестясь и кланясь на все стороны. – Сюда все мои чады ложатся, когда жизнью досыта

насытятся. Полежат-полежат, и засыпают. Ох, сладок-от сон! Я бы тож поспал, но покудова, видно, не срок.

Вы чувствуете, что у вас начинают слипаться глаза. Здесь, в пещере, какая-то аномальная атмосфера. На вас нисходит невероятное, почти наркотическое спокойствие, как при введении анестезии. Вы встряхиваете головой, отгоняя морок.

Старец ведет вас к стене, горестно показывает:

– А тут которые до срока отошли, без охоты.

Вы видите, что в этом ряду все мертвецы молоды. Немало и детей.

– Деток жалко. За ими ить не уследишь, не сбережешь. И ломаются, и бьются, и иное всяко. Фетька вон Шатунов сын. В озере потоп. Всего ничего под водою был, а прибрал малого Господь, отцу-матери не возвернул.

– Господь тут ни при чем, – говорите вы. – Искусственное дыхание надо было делать, массаж сердца. Если меньше четверти часа – можно откачать.

Вы вспоминаете, что форсированная вентиляция легких – изобретение европейской медицины довольно позднего времени. До русской глубинки эта наука в семнадцатом столетии, вероятно, еще не дошла.

– Энто вот Настасья Певунья, – со вздохом показывает Столет на совсем свежую покойницу с еще не померкшим, удивительной красоты лицом. – О прошлый четверток преставилась, не смогла разродиться. Плод из чрева не протиснулся. Ох, хороша баба была...

– Надо было кесарево делать, – говорите вы. – Рассечь живот, вынуть младенца, потом зашить. Оба остались бы живы.

Старец внимательно смотрит на вас.

– И много вас там, на Сотонинщине, таких лекарей?

– Много, – отвечаете вы.

– Егда тебя с ими не будет, чай обойдутся?

Вы не понимаете, к чему он клонит, но такой поворот вам не нравится.

– Инда изыдем отсель, покуда не сморило. Тут дух сонный, – говорит Столет и выводит вас на свежий воздух. – Я человек вижу, такой мне от Господа дар. И тя вижу. Хоть ты сам и сотонинской, а душа в тебе живая. Суди совестью, лекарь. В тамошнем миру потопшего отрока аль бабу-роженицу и без тебя спасут. А тут, коли

останешься, токмо на тебя надѣжа. Фетька такой сызнова сгибнет. Настасья Певунья також. Человек нужен там, где он нужней. Где его никем не сменишь. Оставайся с нами, лекарь.

– Я не один. У меня дочь. Больная, – отвечаете вы. – Хворая рассудком. Кроме меня у нее никого нет. Нужней всего на свете я там, с ней. Отпусти меня, добрый человек.

– А ты дочку к нам доведи. У нас ей лутьше будет, чем в Сотонинщине. Гли-ко вокруг, тут рай Божий. Коли научу тебя, как отсель уйти, вернешься к нам своей волей? Скажи как на духу. Я тебе поверю.

Он смотрит на вас, ждет ответа. Вы не хотите лгать. Да и не получится – старец почувствует неискренность.

– Что вы скажете Деду-Столету, Антон Маркович?

– Не переселяться же нам с Адой, в самом деле, из Москвы в старообрядческую общину? – пожал плечами Клобуков. – То есть технически это, вероятно, возможно, хоть и непросто. Долететь до Читы, оттуда как-нибудь добраться до Окобоги, но... Нет, это невообразимо. Я, наверное, вот что ему скажу. Во-первых, пообещаю свято хранить тайну. Во-вторых, дам слово каждый свой отпуск проводить в Окобоге. Я член-корреспондент, мне положено полтора месяца. Буду приезжать с медикаментами, с инструментами. Ну и вообще – привозить то, что им необходимо. Для них же лучше будет. И свое слово я сдержу, можете не сомневаться.

– Значит, Махаяне вы готовы уделить восьмую часть вашего времени, – сказала Епифьева непонятное. – Нечто подобное я и предполагала.

Взяла еще две странички.

– Теперь я сначала почитаю, потом послушаю вас и запишу.

– Не будешь с нами жить, – заключает Столет, дослушав. – Однакож речено без кривды. То мне любо. Что ж, и аз с тобой криводушничать не стану, обскажу как есть. Не можно к нам в Оконце егда восхощешь войти-выйти. Тебя-то Господь едино чудом провел. Ныне утром на малое время Око Небесное прикрылось – только тем ты и спасся. Фимка рекла, там, под Сторожихой еще трое чужих лежат, и те мертвы, ликом крашены. Твои сотоварищи?

– Да. Что с ними случилось? – спрашиваете вы. – Отчего они умерли? Что такое «сторожиха»?

– Сторожиха – каменная баба, она тута ишшо до нас истуканствовала. На всех перевалах, где лязя сойти в Окобогу, такие ставлены ради страха и обережения. Потому ежели взойти с-под деревьев на пустоту, где солнце, с человека дух вон. Млеет человек, сила из него выходит, в душу вселяется ужас и отлетает она, душа, а лик делается киноварен.

Вы вспоминаете, что наверху вам действительно стало нехорошо, но дурнота отступила, когда солнце вдруг скрылось за тучей. Потом снова развиднелось, но в это время вы уже спускались в долину.

Похоже, ваши спутники стали жертвой какого-то необъяснимого природного феномена. Кольцо кратера представляет собой контур, где сконцентрирована некая энергия или экранируется какое-то излучение, не воспринимаемое органами чувств. При ярком свете солнца или луны оно убивает человека и пигментирует кожу.

– Но ты не страшись, аз тя наушу, како отсель целу выйти, коли ты в чистоте обитать не хочешь, – говорит старец. – Надобно безлунной ночи выждать. Тогда ништо, можно. Нас то бережет, что чужие, егда даже в сии края забредут, на гору всяко в дневно время лезут. Идохнут. А мы после их, киноварью мазанных, в Ледовую сносим.

– Куда-куда?

– А погрядём, глянешь.

Старик ведет вас в третью, самую правую пещеру. Там темно, но у входа лежит палка, обмотанная паклей. Столет вынимает кресало, высекает искру, запалает факел.

Ведет вас узким проходом внутрь.

Там очень холодно. Стены и свод покрыты инеем. Как и в Чистой пещере, в несколько шеренг стоят открытые домовины, но их немного, десятка два.

Первый покойник, которого вы видите, одет в черный мундир с офицерскими погонами, на груди эмалевый георгиевский крестик, на рукаве нашивка – череп с костями. Поблескивающее ледяной коркой усатое лицо такого же красно-оранжевого цвета, как у ваших несчастных спутников.

– Энтот вот последний, тридцать пять годов тому явился, – говорит старец, и вы соображаете: должно быть, офицер разбитой колчаковской

армии. – За все за двести за полста годов девятнадцать страдников до нас добрело.

Вы оглядываетесь по сторонам. Видите несколько бородатых мужиков – должно быть, охотников. Один мертвец, судя по камзолу с медными пуговицами, из восемнадцатого столетия.

– Токмо один живой прошел, яко ты. – Столет останавливается над человеком в круглых очках. Это единственный, у кого лицо не красного цвета. – Тож пожалело его Око, прикрылось. В триста девяностом третьем было...

Вы мысленно пересчитываете на современную хронологию. Семь тысяч триста девяносто третий год это – минус 5508 – получается 1885-ый.

– Отраднй был мне собеседник, – вздыхает Столет. – С Анчихристовой каторги сбежал. Порассказал, поведал, яко у вас там на Сотонинщине. Жалко, пожил недолгое время, годок всего, и помер. Гнилой он был, чахотошный – потому не в чистоте произрос, а на вашей поганщине. И в Христа-Бога не веровал, грешник. Оттого нельзя было его в Чистой пещере упокоить...

Старец поворачивается к вам.

– А скажи мне, пришлый человек, како у вас там на Сотонинщине ныне, чрез семьдесят лет? Чай так же погано? Что за царь царствует? Сильно ли злой?

– И здесь, Антон Маркович, мы с вами вновь переходим в жанр пьесы. Я спрашиваю за Деда-Столета, вы отвечаете. Так что вы ему скажете про нынешнее время?

– Что оно не лучше, чем в 1885 году, – ответил Клобуков. – Во многих отношениях даже хуже. Что царь, который правил до недавнего времени, был страшнее Петра и Ивана Грозного, истинный Антихрист. Погубил бессчетное количество живых душ, а остальные отравил ядом лжи и раболепства. Что самое ценное человеческое достояние – уровень мысли – за семьдесят лет не вырос, а опустился. Потому что всех мыслящих истребили, а новые на смену еще не выросли.

– Нешто так и не сыскалось пророка ли, праведника ли, некоего умудренного мужа, какой придумал бы на Анчихристово воинство управу?

– Тут не пророк нужен, – с убеждением произнес Антон, потому что много над этим думал. – Нужно, чтобы многие, очень многие захотели жить по-другому. Развитие чувства и мысли – вот что нужно. Достоинство. Пока в людях мало достоинства, они так и будут... ну, прислуживать Антихристу. Поэтому единственный путь – делать всё возможное, чтобы этого достоинства становилось больше... Не знаю, поймет меня Столет или нет...

– Неважно. Главное, что я поняла, – довольно молвила Мария Кондратьевна. – «Делать всё возможное». Превосходно. Ну и осталось самое-самое последнее.

Вы двое стоите над долиной. Наверху, в окружении хмурых туч, проталина ясного неба, внизу зелень хвойного леса.

Старец говорит:

– Чистая жизнь, коей мои чада под Божьим Оком живут, она простая. Потому и они все простые, немудреные. Аз же непрост есмь, ибо давно на свете обретаюсь. В ино время восхощу про непростое потолковать, а не с кем. С тех пор как чахоточный помер – он-от непрост был – семьдесят годов сам себя вопрошаю, сам себе отвечаю. Вот я чадам своим реку: Богу от человеков надо, чтобы они по заповедям жили. Не крали, не убивали, не творили прелюбы, не пожелали дома и жены ближнего. А что Господу истинно надобно, того аз не вем. Се из всего есть самая великая тайна. Думал ты о том иль нет? Ты муж умудренный, не мог ты про это не думать.

– Вот и ответьте Старцу, Антон Маркович. А я запишу, и на этом тестирование закончится.

– То есть вы хотите, чтобы я дал мою трактовку смысла жизни? – улыбнулся Клобуков. – Во времена нашего с вами гимназического детства это было модно. Потом, когда эпоха упростилась, вопрос был снят с общественной повестки. На него ответила Партия.

– Вы ведь пишете ваш трактат. В чем самая суть вывода, к которому вы там приходите? Скажите не для Деда-Столета, а для меня, без «инда» и «егда».

– Ну, если совсем коротко, пожалуй, я бы сформулировал так. Концепция не моя, но я ее полностью разделяю. Богу – если использовать эту терминологию – нужно, чтобы каждый человек, во-

первых, сполна открыл некий уникальный дар, заложенный Богом же (на самом деле природой), а во-вторых, поделился этим даром с остальными. Тогда ты проведешь жизнь не впустую – выполнишь и свое личное, и свое общественное предназначение.

– Ну, если в такой последовательности – сначала личное, а потом общественное, то вы получаете по этому пункту 20 % в Хинаяну и 10 % в Махаяну, а общая пропорция выходит 55 на 45. Это довольно душераздирающий баланс, – резюмировала Епифьева. – Впрочем, мне нужно будет еще раз всё проанализировать и подсчитать. Вы сейчас идите.

– А что со мной дальше-то будет? – пожелал знать Клобуков. – Выберусь я из кратера на свободу или нет?

– Мм? – рассеянно промычала она, не поднимая головы. – Не знаю. Какая разница? Вы ступайте, ступайте. Не мешайте мне работать. Завтра вечером приходите. Я вам представлю вашу полную эгохимическую формулу.

Введение в эгохимический анализ

Под тусклым светом фонарей, по тротуарам, на которые ветер накидал желтой листвы, Антон Маркович прошелся той же дорогой, которую проделал вчера. Поскольку маршрут был уже знакомый, по сторонам не глядел, думал про письмо, которое накануне отправил в Коломну, Баху. Ответит или нет? Молчание тоже будет ответом...

Потом стал в тысячный раз размышлять о предложении Румянцева. Случай был классический: конфликт ума и сердца. Все разумные доводы были за то, чтобы исполнить неприятный ритуал со вступлением в партию ради большого и важного дела. Так же в свое время какой-нибудь Александр Невский ездил в Орду, втайне плюясь, кланялся там идолам, зато получал ярлык на княжение и мог служить благу отечества. Аналогия, конечно, чересчур театральная, но верная. Такая уж это земля. Чтобы получить возможность сделать на ней что-то доброе, сначала надо поклониться Злу.

Вероятно, «эгохимический тест» Марии Кондратьевны насчет членкора Клобукова ошибался. Эмоционального в нем больше, чем рационального. Поперек себя идти не хотелось. Даже ради фторотановой анестезии.

Мысль свернула на невероятную старую даму, к которой второй вечер подряд направлялся Антон Маркович. В жизни он встречал немало ярких, необычных людей, но подобную особь – впервые. Это надо же! Появиться на свет с таким количеством гандикапов – тяжелая инвалидность, тяжелая страна, тяжелое время – и суметь прожить настолько полную, захватывающую, осмысленную жизнь! Как же стыдно ныть, жалеть себя, тратиться на всякую дребедень, когда на свете есть Мария Кондратьевна Епифьева. И совершенно неважно, есть в ее теории зерно или же это полный бред. Уж во всяком случае от психологического тестирования больше проку, чем от философского трактата, который пишется в стол, не нужный никому кроме самого сочинителя.

За Садовым кольцом, покинув плебейские Хамовники, Клобуков оказался в старом барском районе элегантных особняков и дорогих доходных домов. Перед революцией здесь была самая буржуазная часть города, и этот дух до сих пор полностью не выветрился.

Дом Марии Кондратьевны был украшен лепниной и эркерами. Раньше здесь, вероятно, проживали присяжные поверенные, крупные чиновники и биржевые маклеры, но сейчас, естественно, бывшие апартаменты превратились в коммуналки. На двери с номером 24 висело четыре таблички. М.К. Епифьевой полагалось звонить три раза.

Вчера открыла не Мария Кондратьевна, а щекастая женщина в папильотках, в линялом халате. По виду – продавщица или, может, приемщица из прачечной. Клобуков перед хамоватыми бабами этого сорта всегда терялся, зная, что чем-то их раздражает.

– Извините. Я, вероятно, не так нажал, – промямлил он. – Мне к Епифьевой...

Но женщина оказалась нестрашная. Приветливо улыбнулась, сверкнув золотым зубом.

– Да слыхала я, слыхала. Чего ей хромать до двери? У меня ноги не отвалятся. Вы заходите, вон ейная комната. А пальто на вешалку можно. У нас по карманам не шарют.

Вот ведь как обманчива бывает внешность, подумал Клобуков.

В коридор выглянула Епифьева, поздоровалась, сказала: «Спасибо вам, Лидочка». Та ответила: «Если чайник поставить – в стенку стукните», и ушла.

– Как вам повезло с соседкой!

– С «эмоционал-домосед-донором» наладить хорошие отношения нетрудно, – произнесла непонятное Мария Кондратьевна. Она была в старомодном жакете с кружевным воротничком, будто собралась в гости. – Прошу вас, у меня всё готово.

Комната у нее была чудесная. Небольшая, но чрезвычайно уютная и очень хорошо обставленная – Антон Маркович даже удивился. Мебель карельской березы, на стенах пейзажи, гравюры и какие-то таблицы, мелко исписанные карандашом, с многочисленными следами от ластика. На самом видном месте висела фотография в золотой раме, с размашистой подписью: прищурившийся лысоватый мужчина в очках, одетый по-дореволюционному.

– Это профессор Юнг, – объяснила хозяйка. – Садитесь в кресло. Вам там будет удобно.

– У вас тут... будто провал во времени, – сказал Клобуков, с удовольствием озираясь. – И название у вашего переулка такое славное – Померанцевский. Даже удивительно. Всё ведь вокруг

переименовали. Слева – Метростроевская улица, справа – Кропоткинская.

Епифьева засмеялась.

– Тут вы, что называется, попали пальцем в небо. Сразу видно неприродного москвича. Переулок раньше назывался Троицким. Переименован в честь большевика Померанцева, якобы павшего здесь во время октябрьских боев.

– Почему «якобы»?

– Ну что вы, это замечательная история! Я недавно в газете прочла. Этот самый Померанцев, в семнадцатом году прапорщик, был не убит, а только ранен. В революционной суматохе его куда-то отправили, сочли покойником и, так сказать, увековечили память. И только в этом году, оказавшись проездом в столице, благополучно выживший товарищ Померанцев случайно узнал, что его имя уже почти сорок лет носит московский переулок. Просто миф о птице Феникс, мне ужасно понравилось! Но не будем терять времени. Нам предстоит большая работа.

Вчера, едва тест закончился, хозяйка почти выставила Клобукова, так ей не терпелось приступить к анализу.

Антон Маркович всё возвращался мыслями к ситуации, в которую поместил его тест. Если оставить в стороне литературные несовершенства вроде довольно неумелой имитации старорусской речи, история была выстроена ловко.

Сегодня после трех звонков дверь открыл плохо выбритый мужик в вислой майке – и опять повел себя сердечно.

– Вы к бабانه? Идите, идите, у себя она.

Тоже, видимо, проанализированный и прирученный, усмехнулся про себя Клобуков. Определенно от эгохимии практической пользы больше, чем от трактата «Аристонмия».

– Я всё восхищаюсь сюжетом, который вы для меня придумали. – Вот первое, что он сказал Марии Кондратьевне.

Она опять была торжественная, в шелковом красном платье, с камеей на горле. Удивительно, что пенсионерка, пускай даже подрабатывающая в поликлинике и «скорой помощи», может позволить себе каждый день менять наряды. Уж на что Зиночка Ковалева модница

и за собой следит, но у нее только одно выходное платье и дома она в нем вряд ли ходит.

– Сюжет я взяла готовый, они все давно разработаны, – ответила Епифьева. – Я лишь меняю стилистическое оформление, реалии, сложность языка – в зависимости от образовательного уровня респондента, его круга интересов и прочего. Например, Зотов, шофер «скорой», который привозил меня к Аде, такой же, как вы, «рационал» категории «День». Так у него самолет разбился около тайного таежного лагеря крестьян-кулаков, сбежавших от коллективизации, и ценность для них Зотов представлял не медицинскими, а техническими знаниями. Есть и другие варианты: беглые уголовники, затерянное племя индейцев на Амазонке. Антураж не имеет значения, главное – тестовые ситуации. Их у меня, если считать все разветвления, приготовлено триста семьдесят восемь. Это покрывает всю гамму эготипов.

– Триста семьдесят восемь? – ахнул Клобуков.

– Ну да. Шесть сборников – для женщин, мужчин и для трех возрастов – по шестьдесят три теста в каждом. В прошлый раз вы принесли мне иностранные журналы по психологии. Я совсем не спала, увлеченно читала. Потрясающе интересно! Оказывается, там тоже всюю используется психологическое тестирование! На основании теоретической базы, разработанной Карлом Юнгом, две женщины, мать и дочь, Катарина Бриггс и Изабель Бриггс-Майерс, создали развернутую систему индикации человеческих типов. Кое-что оттуда я обязательно позаимствую, но, на мой взгляд, там три принципиальные ошибки.

– Какие?

– Во-первых, их система однолинейна. То есть человеку дается единый комплекс вопросов, и нужно отвечать на все подряд. Моя же система, как вы знаете, вариативна. Она настраивается на индивида и, в зависимости от ответов, ведет его всё ближе и ближе к личной формуле. Список вопросов получается различным. Какой смысл, например, задавать «рационалу» вопросы, релевантные для «эмоционала»? Во-вторых, их метод предполагает самостоятельные ответы респондента. Это неправильно. Нужно не спрашивать человека: «вы такой или такой?», «вы любите это или то?», а ставить его в конкретную ситуацию, требующую решения. Так получится точнее. Ну и третье –

их система не учитывает возрастных особенностей. Применять одинаковую анкету для семнадцатилетнего и семидесятилетнего – нонсенс.

Антону Марковичу стало очень интересно.

– Расскажите тогда про вашу систему. Я знаю только фрагменты.

– Давайте начнем с вашего конкретного теста. Он относится к комплексу «День-М», то есть я его использую для мужчины активной поры жизни. Первый уровень градации, он же тест-1, как я уже говорила, распознает «рационалов» и «эмоционалов».

– Я еще в тот раз хотел спросить, почему вы начинаете именно с этого параметра?

– Потому что нужно брать качество коренное, врожденное, а не сформированное жизненными обстоятельствами. Ну вот, скажем, младенцы рождаются пугливыми и храбрыми, и часто это проявляется еще в колыбели, но храбрость константой не является. Ее можно развить воспитанием, как делали спартанцы или японцы. Значит, не годится. Другая важная характеристика – оптимистический или пессимистический взгляд на мир – тоже часто формируется в результате удачно или неудачно сложившейся биографии. Опять не то.

– А экстравертность-интровертность?

– Вполне могут оказаться приобретенными. Например, послушника в монастыре среда располагает к интровертности, а в пионерском отряде в детях стимулируется экстравертность.

– Хорошо. Есть люди по природе добрые и злые.

– Доброте можно научить – хотя бы на уровне социального поведения. Выдрессировать, как собачку. Злым же человека изначально мягкого иногда делает враждебность окружающих. Не годится. А вот восприятие событий в первую очередь рациональное или в первую очередь эмоциональное – это пожизненная константа. Что в человеке сильнее – ум или чувство, инстинкт, порыв? В зависимости от этого ключевого параметра дальнейшее тестирование строится по-разному.

– Ладно. Вы определили меня в «рационалы» – насколько я помню, в преимущественные «рационалы». Что дальше?

– Тест-2 для «рационала» – на способ освоения жизни. Это деление на «искателей», которые стремятся к новому, непробованному, и на «освоителей», для которых естественнее осваивать уже открытые Америки. Тест-3 – делить «искателей» (вы ведь «искатель») на

«креативистов» и «акционистов». Первые, как я уже объясняла, ищут приключений в отвлеченных сферах, вторые – в реальной жизни. Точно таким же образом «освоители» подразделяются на «честолюбивых», которые всю жизнь стремятся к достижениям, и на «нечестолюбивых», которые умеют находить удовлетворение в статусе-кво.

– А разве среди «креативистов» не бывает честолюбивых людей? Да сколько угодно!

– «Креативисты» все в большей или меньшей степени честолюбивы, потому что в основе всякого творчества – желание сделать нечто уникальное.

Мария Кондратьевна подошла к одной из висевших на стене таблиц, поправила песне.

– Так. Тесты третьего этапа предназначены в одной ветви для «искателей-креативистов» и «искателей-акционистов», в другой – для честолюбивых и нечестолюбивых «освоителей». Каждая из этих категорий, в свою очередь делится на два разряда. Ну и так далее, вплоть до шестого, последнего этапа, состоящего из 32 тестов, выводящих нас к 64 финальным «эготипам». Если вам интересно, могу показать полную схему тестирования. Я распечатала на машинке брошюру.

Она взяла с секретера переплетенную тетрадку. На первой странице был заголовок «Введение в эгохимический анализ».

– Возьмите домой, почитайте. Там вступительная глава и потом идут двенадцать таблиц с комментариями. Только давайте я объясню некоторые придуманные мной термины, а то будет непонятно.

Епифьева повела пальцем по линиям и прямоугольникам.

– Про «артистов» и «ученых» я вам уже объясняла... В ряде тестов встречается сепарация «огонь» или «вода». Человек-«огонь» деятелен, но может и обжечь. С ним больше проблем, чем с человеком-«водой», но от него может быть и больше пользы... «Партизан» или «дисциплинарный» – это человек хаоса и человек ордера. Думаю, понятно... Про «махаяну» – «хинаяну» я вкратце вам говорила. Это заимствование из буддизма. «Махаяна», «Большая Колесница» – это путь общественного служения, «Хинаяна» или «Малая Колесница» – путь индивидуального самоусовершенствования. В моем термине ничего буддистского нет. Речь идет просто о нацеленности внутрь или вовне. Допустим, бабушка, сидящая у подъезда и перебивающая кости

соседям – это «махаяна», а спивающийся в одиночестве алкоголик – «хинаяна».

Следя за морщинистым пальцем, Антон Маркович спросил:

– Вот что-то загадочное. Развилка «бульдог» – «папильон». Сразу в нескольких разделах. Что это?

– Характеристика, определяющая целеустремленность, упорство в достижении поставленных задач, неважно каких: цепок, как бульдог, или порхает с цветка на цветок, как бабочка. Не путать с тестом «муравей» – «стрекоза», который я применяю по отношению к женщинам. Тут речь идет не о «модусе операнди» человека, а об общей жизненной установке.

– А какие еще различия между тестированием женщин и мужчин?

– Довольно существенные. Может быть, когда-нибудь женщины маскулинизируются, а мужчины феминизируются настолько, что модели их личностного и социального поведения сойдутся, но до этого пока далеко даже в нашей стране, всячески провозглашающей равноправие. Все равно девочек и мальчиков воспитывают по-разному, девушки и юноши руководствуются разными этико-эстетическими кодексами, мужчины и женщины зрелого возраста мотивируются и демотивируются разными факторами, и лишь в старости дистанция сжимается. Смотрите на таблицу «Утро». Видите, у мужчин периода острой гормональной активности кардинальное разделение – «модератный» или «чувственный». Первые способны контролировать половой инстинкт, у вторых сексуальность заглушает все прочие позывы.

Это называется «думать не головой, а яйцами», подумал Антон Маркович, но вслух, конечно, говорить такого не стал. Спросил про другое:

– Я вижу, что у вас «эмоционалы» тоже проверяются на умеренность. Разве бывают сдержанные «эмоционалы»?

– Это довольно редкий тип, но он требует особого внимания. Мужчину, живущего сильными чувствами (это если «эмоциональность» приближается к 100), но при этом лишённого чувственности, нужно проверить по параметру «добрый»-«злой». Если очень добрый, то это материал, из которого лепятся святые. Если очень злой – из человека может получиться чудовище. У меня лет пятнадцать назад был респондент, который, как он выразился, работал «исполнителем в

органах», то есть попросту говоря палач. Способность к рефлексии и рациональность – практически на нуле, из радостей жизни ценил только вкусную еду, а озлобленность в нем прямо пульсировала. Он рассказал, что выполняет свою ответственную государственную работу с душой и «с огоньком». При этом очень оживился, раскраснелся.

– Вы способны разговаривать и расположить к себе даже такого человека? – поразился Клобуков.

– Любого. Это совсем нетрудно, если имеешь большой опыт и отработанную методологию. Но вернемся к половым, или, выражаясь точнее, гендерным различиям. На том же этапе, где я тестирую молодых мужчин на «модератность», девушки проверяются по другому принципиальному водоразделу: «домоседа» – «непоседа». Имеется в виду установка на домашность или на авантюристность – в самом широком смысле: поиск себя, мечта о карьере, жажда приключений, романтичность.

Епифьева перелистывала страницы брошюры.

– Что еще в терминологии может быть вам непонятно? «Пластичный» или «ригидный» – это тест на способность к трансформации: есть ли у человека потребность и психологическая возможность к развитию. Очень важная характеристика, сохраняющаяся в любом возрасте, даже преклонном. Вы увидите, что «ригидность» сопутствует большинству эготипов, которые я определяю как проблемные. Они выделены в самом нижнем ряду подчеркиванием. На таких людей следовало бы вешать табличку «Держитесь от меня подальше: я опасен для себя и окружающих». Но и с ними можно работать, если случай не совсем запущенный.

– «Полуполный»-«полупустой»? – спросил Антон Маркович, смотря в тетрадку.

– Это как со стаканом – он наполовину полный или наполовину пустой. Имеется виду позитивное и негативное восприятие реальности... Ага, «корсар»-«пират». Это нужно пояснить. Тестируется базовая этичность. Я нарочно выбрала романтическую терминологию, чтобы уйти от оценочной дихотомии. Ну и потом жизнь человека похожа на плавание, причем отнюдь не мирное и небескорыстное. Каждый стремится к некоей заветной цели – то есть к добыче, даже абсолютные бессеребренники, просто их добыча нематериальна. Однако есть разница между корсарами, плавающими под флагом своей

страны и соблюдающими правила морской войны – и пиратами, поднимающими «черный Роджер». Речь идет не о том, хороший или плохой это человек (хотя среди так называемых плохих людей «пираты», конечно, встречаются чаще), а о том, придерживается ли респондент вообще неких правил поведения, есть ли у человека какой-то этический кодекс, либо же он руководствуется исключительно порывами – если «эмоционал» или конъюнктурой – если «рационал».

– Понятно, – кивнул Клобуков. – А что такое «магнитный»-«немагнитный»?

– Испытывает ли респондент магнитное притяжение, побуждающее его с кем-то соединиться. Есть ли потребность «раствориться» в другом человеке. Это не сознательный выбор индивида, а присутствие или отсутствие в его душе некоего встроеного «магнита». «Магнит» может отсутствовать как у очень черстных людей, так и у святых, которые способны полюбить всё человечество, но не умеют любить отдельного человека. Любовь ко всему человечеству – драгоценное и прекрасное качество, но для него вообще-то следовало бы подобрать какое-нибудь другое слово, чтобы не возникало путаницы.

– Да-да, – согласился Антон Маркович. – Я тоже так думаю. Как вы, должно быть, знаете, древние греки имели для «любви» четыре слова, обозначавшие совершенно разные вещи. Любовь к «большому миру», то есть к человечеству – это «филос», не путать с «эросом», «агапе» и «сторхе».

В брошюре начались «женские» таблицы.

– «Акцептор» или «донор». Это понятно, да? Настрой брать – или давать.

– Ясно. Чеховская «попрыгунья» – или чеховская «душечка». А что имеется в виду вот здесь: «кошка»-«собака», у женщин-«домосед»?

– «Кошка» любит устраивать дом, для «собаки» важнее те, кто в доме живет – члены семьи. Видите, следующая градация у «собак» – «мужецентричная» или «чадоцентричная». У «кошек» – «персидская» или «сиамская». У «персидских» дома маниакальный порядок и красота, но холодная. У «сиамских» тепло и уютно.

– Почему? – рассмеялся Клобуков. – Чем вам не угодили персидские кошки?

– У меня в детстве была персидская кошка. Очень красивая, но чопорная особа. Не подступишься. А у моей подружки Нины Дурново был сиамский котик – прелесть какой ласковый. Я ей ужасно завидовала... Ну и самая последняя таблица. Здесь нужно объяснить только термин «валентная»-«невалентная». «Невалентная домоседа» предпочитает одиночество, ей в общем никто не нужен. «Валентные», то есть нуждающиеся в общении «домоседы» делятся на «контактных» и «неконтактных». «Неконтактные» не умеют выстраивать нормальные межчеловеческие связи, они вечно ввязываются в конфликты. Самый распространенный пример – злобная одинокая старуха, отравляющая жизнь соседям.

Епифьева закрыла тетрадку и передала ее Антону Марковичу.

– Вот и вся терминология, остальные обозначения у вас трудности не вызовут. Разберетесь.

– Сомневаюсь. – Он тряхнул головой, несколько отупевшей от переизбытка информации. – У меня от всей этой премудрости, что называется, совершенно мозга за мозгу заехала.

– Ничего. Как заехала, так и выедет. Люди вашего эготипа любят, когда всё разложено по полочкам. В этом мы с вами схожи.

– А каков мой эготип? Я ведь пришел за диагнозом, – спохватился Клобуков.

– Сейчас доложу. – Епифьева взяла карточку. – Итак, результаты теста № 3701. «Рационал»-85; «Искатель»-90; «Креативист»-90; «Ученый»-75; «Бульдог»-75; «Хинаяна»-60. Вот ваша эгохимическая формула. Все параметры кроме последнего – с выраженной доминантностью основного компонента.

– А... а что всё это означает на, так сказать, практическом уровне? – спросил Антон Маркович, испытывая разочарование. Он ожидал более подробного анализа и, может быть, каких-то полезных рекомендаций.

– Короткая формула выводится для меня, а не для вас. Попозже мы с вами подробно пройдем по каждой позиции. Но сегодня я хотела бы поговорить с вами о другом.

– О чем?

– Несколько слов по шестой позиции, обозначенной на карточке просто как шестидесятипроцентная «Хинаяна». Вы человек общественно неактивный, но интересующийся глобальными

проблемами и – внимание – остро нуждающийся в бинаризации. Это выводит нас на тему еще более увлекательную, чем эгохимическая диагностика.

– Куда уж увлекательней? – засмеялся Клобуков. – Я и так сижу, разинув рот. Что такое «бинаризация»?

Мария Кондратьевна таинственно улыбнулась, словно готовя собеседника к некоему чудесному сюрпризу.

– Об этом мы с вами поговорим за чаем.

Она поставила на стол коробку зефира – точно такую же Клобуков получал в праздничном «академическом» заказе, и конфеты, да не какую-нибудь «Дунькину радость» по рублю пакет, а настоящий «трюфель», шестьдесят пять рублей за килограмм. Эта роскошь продавалась в больших гастрономах свободно, немногие могли себе такое позволить. Даже Клобуков брал их дочке только дважды в месяц, с зарплаты, по полкило.

Сервиз у Марии Кондратьевны тоже был богатый, настоящий майсен. В точности такой же, как у отцовских знакомых Лебедевых, а те жили на широкую ногу.

– Купила себе в подарок на день рождения, – сказала Епифьева, поймав его взгляд. – В комиссионном. Ужасно дорогой, три с половиной тысячи, но такой красивый.

Ничего себе, подумал Антон Маркович. Он при своем звании и должности получал в месяц три двести, да еще с вычетами.

– Удивляетесь, как я могу при пенсии в пятьсот пятьдесят и невеликом приработке позволять себе такие подарки? – Мария Кондратьевна любовно погладила розы на круглом боку заварного чайника. – У меня иной источник дохода. Очень хороший. Я – сваха.

Клобуков улыбнулся, дожидаясь продолжения. Что, интересно, она имеет в виду?

– Не шучу. Я устраиваю браки. Во времена НЭПа имела официальную лицензию, платила налоги. Потом, когда частное предпринимательство окончательно запретили, ушла в подполье. Устроилась на полставки в поликлинику и продолжила работу без рекламы. У меня уже имелась репутация, клиенты появлялись сами. Денег за свои услуги я вперед не беру. Говорю паре: «Если через год вы будете считать себя счастливыми, можете меня отблагодарить». Некоторые, конечно, исчезают и больше не появляются, но

большинство приходят и платят деньги или делают дорогие подарки. Несколько десятков человек взяли себе за правило в каждую годовщину свадьбы меня одаривать – из признательности. Вполне можно было бы безбедно существовать на одну эту «ренту». Видите ли, все браки, которые я устраиваю, – счастливые, без исключения. Потому что я использую эгохимический анализ, свожу только тех, кто по своей формуле подходит друг для друга. Сбоев не бывает.

Антон Маркович поймал себя на том, что действительно сидит с раскрытым ртом – в самом буквальном смысле.

– В этом состоит вторая цель моих исследований. Если первая – помочь человеку разобраться в себе и не совершать жизненных ошибок, то вторая – сделать его счастливым. Ведь человек задуман природой как двуединый организм. В полноформатном виде он не мужчина и не женщина, а мужчина *и* женщина. Иногда это два мужчины или две женщины, но суть от этого не меняется. Почти все люди, за исключением немногих природных одиночек, существа бинарные.

– Так вот что вы называете бинаризацией?

– Удвоение личности за счет слияния с другой личностью. Это скорее даже не сложение, а возведение в квадрат. В идеальном союзе оба партнера полностью раскрывают свои способности и возможности. Возникает симбиотический эффект.

– Я знаю, я много думал об этом! – взволнованно сказал Антон Маркович. – Я называю это для себя «настоящей любовью» – когда он и она, соединившись, делаютя намного сильнее. Знаете, я даже хочу написать об этом отдельное исследование, когда закончу мою «Аристономию». Но мне никогда не приходило в голову, что эту задачу можно решить технологическим путем. Как вы это делаете?

– Принцип логичен и прост. Как интерференция двух волн. Если волны противоположны по фазе, они гасят друг друга, и поверхность отношений получается безмятежной. Можно также назвать это принципом взаимной компенсации. Идеальная пара – такая, в которой оба партнера прикрывают все слабые участки другого. Например, «рационал-освоитель-честолюбивый-вода-хинаяна-бульдог» Андрей Болконский составил бы со своим антиподом «эмоционал-чувственной-искательницей-акционисткой-огонь» Наташей Ростовской более гармоничную пару, чем «эмоциорационал-искатель-креативист-махаяна-корсар-папильон» Пьер Безухов.

– Почему это у вас Болконский – «освоитель», а Безухов – «папильон»? – обиделся за любимых героев Клобуков.

– Потому что Болконский все время ориентируется на каких-то «искателей» – то на Бонапарта, то на Сперанского, а Безухов никогда ничего не доводит до конца.

Антону Марковичу пришло на ум другое возражение.

– Секундочку. Если вы сводите противоположности, то что же – умному надо жить с дурой?

– Вы совершаете обычную ошибку, подменяя характеристику оценочным словом. «Дура» – это женщина, руководствующаяся в своем поведении не рациональными, а эмоциональными механизмами. Но правильно работающие эмоции – мотиватор не менее действенный, чем рациональность. Глупым воспринимается человек, эмоции которого не регулируются этикой и эстетикой. Вы ведь не назовете дураком того, кто отдает последнее нуждающимся, хотя с точки зрения рациональной это весьма неразумный поступок? Представьте себе две пары. В одной партнеры – сугубо головные люди, каждый свой шаг взвешивающие с точки зрения целесообразности. В другой один партнер смотрит на ситуацию «глазами разума», а другой «глазами сердца». Вторая пара сильнее – она будет защищена и от глупого, и от бессердечного поступка.

– Хорошо. Предположим, она – порядочная женщина, а он негодяй. Ладно, уйду от оценочности. Он – человек, для которого этические соображения ничего не значат. Как ей с таким мужем ужиться?

– Низкий или нулевой уровень этичности – это, как и всё остальное, необязательно плохо. У людей такого склада, «пиратов», хорошо развиты такие драгоценные качества как самостоятельность суждений и способность к любви. Ради того, кого они любят, эти люди сделают что угодно, ни перед чем не остановятся. Разве вы не хотели бы, чтобы ваша избранница любила вас больше, чем весь остальной мир, и ради вас не задумываясь пошла бы даже на преступление? Вам, при ваших имманентных качествах, очень пригодилась бы любящая вас ведьма. Этики в вас и так более чем достаточно.

В Мирре действительно было что-то от ведьмы, подумал Клобуков. Рациональностью она никогда не отличалась. И объективностью тоже. Как же я был с нею счастлив...

– Есть однако важная оговорка, – продолжила Елифьева. – Идеальная пара антиподна по своим ментальным характеристикам, но не по тем, что определяются физиологией. Физиологическое нуждается не в гладкости и покое – наоборот, в усилении. Плотская гармония возникает при совпадении интерференционных фаз – когда волны поднимаются вдвое выше. Простите, если моя аллегория хромает, я не сильна в физике. Не получится хорошей пары из сексуально холодной женщины и чувственного мужчины. Тем более – наоборот. Это как в спорте. Представьте себе команду, половина которой футболисты, а половина – шахматисты. Эта сборная проиграет и в футбол, и в шахматы. Следует учитывать еще вот что. Противоположности не всегда зеркальны, как в изначальной дихотомии «рацио»-«эмоцио», однако всегда есть пара качеств, идеально дополняющих друг друга. Например, «рационал-исполнитель-честолюбец» мужской группы «День» будет хорошо сочетаться с «эмоционал-непосед-корсаркой». Им никогда не будет скучно друг с другом, и амбиции мужчины будут контролироваться нравственными нормами женщины. Этичное честолюбие – это великолепное сочетание. Профессиональная карьера превращается из погони за личным успехом в нечто общественно значимое.

– Это для меня слишком сложно, – признался Антон Маркович. – Я еще предыдущую порцию не переварил. А как вы подбираете пары?

– По карточкам.

Мария Кондратьевна показала на большой шкаф, стоявший в дальнем углу.

– За тридцать лет у меня собралось сведения о трех, нет уже почти четырех тысячах человек. Тесты лежат в папках на антресолях, а здесь только карточки с эгохимическими формулами. Тут целая система. Когда появляется клиент (чаще клиентка), я провожу тест и ищу, нет ли у меня кого-то подходящего. Точное, стопроцентное совпадение вначале получалось нечасто, но в сущности достаточно и пяти позиций из шести. Ах, если бы можно было протестировать всё население Москвы! – мечтательно закатила она глаза. – Я бы сделала ее самым счастливым городом планеты!

– А если никого даже приблизительно годного подобрать не получается?

– Тогда я говорю, что придется подождать и начинаю активно искать партнера с уже известными качествами. Вы видели, как я провожу блиц-тестирование. За день при моей общительности я проделываю эту процедуру с несколькими людьми, а во время дежурства в поликлинике, бывает, что и с несколькими десятками. Я наловчилась определять базовые характеристики за минуту и редко ошибаюсь. Если кто-то по первому впечатлению похож на человека, который мне нужен – и, разумеется, «бракоспособен», то есть не женат или не замужем – я нахожу способ заманить кандидата на полноценный тест. Когда-нибудь все люди без исключения будут считать обязательной нормой проходить индивидуальное эгохимическое тестирование, чтобы узнать свою формулу и следовать ей в жизни, избегая тяжелых ошибок. И будет в порядке вещей создавать семью эгохимическим образом. Представьте: вы приходите в специальное бюро, заполняете заявку, где указана ваша формула, и получаете список женщин, которые составят с вами идеальную пару. Дальше остается только списаться или созвониться, и, если кандидатка тоже готова выйти замуж, вы встречаетесь, проверяете, приятны ли вы друг другу физически. Это обычно выясняется при первом же свидании. Нет – связываетесь со следующей женщиной из списка. Рано или поздно всё сойдется. Представьте только, каким будет мир, где все семьи счастливые! – Ее голос зазвенел. – Я, конечно, не бюро, и ресурс моей картотеки невелик, но мне много раз удавалось подыскать человеку его вторую половину.

– Неужели люди так легко соглашаются на тестирование?

– Я умею вызывать доверие. – Мария Кондратьевна засмеялась. – Помогает горб.

– Как это?

– Люди боятся горбунов, предубеждены против них. Это что-то детское, первобытное. Тем сильнее обратная реакция, когда человек видит, что колченогая горбунья – милейшее и безобиднейшее существо. – Хозяйка весело рассмеялась. – Кому-то становится совестно за первоначальную неприязнь, кто-то проникается жалостью, кто-то испытывает любопытство. Я вижу, кого чем взять.

– Погодите, – вспомнил вдруг Клобуков. – Вы сказали, что я остро нуждаюсь в бинарности. Что вы имели в виду? Надеюсь не...

Он не договорил, самому смешно стало.

– В бинаризации, – поправила Епифьева. – И да, я имела в виду именно это. Вам противопоказано одиночество. Вы не должны, не умеете жить один.

– Я не один. У меня дочь, вы же знаете.

– Я имею в виду не это. Вам нужна пара. Жена.

Антон Маркович оторопел.

– Помилуйте, да я уже старик! Мне скоро шестьдесят лет! У меня дочь-инвалид! Да и вообще, не хватало мне еще связаться с какой-то женщиной, чужим человеком! Мне никто не нужен.

– Очень нужен. Просто необходим. И не кто-то, а «эмоционал-домоседа-донор-собака-мужецентрик-соратница». Вы с ней образуете абсолютно идеальную пару.

– Спасибо, – сухо произнес Клобуков, которому вдруг стал неприятен этот театр абсурда. – Но нанимать вас в качестве свахи я не стану.

– И не нужно. Знаете, почему я сегодня в красном платье?

– Что? – переспросил он.

– Я надеваю его, когда удастся найти кому-нибудь безупречную пару. Это для меня праздник. И вам я ее нашла! – торжественно объявила Мария Кондратьевна.

– Что? – опять повторил Антон Маркович. Он никак не поспевал за поворотами разговора.

– Вчера, составив вашу формулу, я по привычке проверила, нет ли у меня кого-нибудь, с кем вы совпадали бы зубчик к зубчику. И что вы думаете? Есть! Живет прямо напротив вас, в том же Пуговишниковом переулке! Представляете? В сказках герой отправляется куда-нибудь за тридевять земель, чтобы найти свою вторую половину, а ваша обитает по соседству. Ну не чудо?

– Кто она? – не удержался от вопроса Клобуков и сразу предупредил: – Не подумайте только, что я собираюсь знакомиться. Просто интересно, кого вы мне придумали сосватать.

– Моя пациентка, у нее бронхиальная астма. Зовут Юстина – редкое имя. И девушка редкая. Работает издательским редактором.

– Девушка? – фыркнул Антон Маркович. – Может быть, я тогда ее лучше возьму внучкой?

– Тина относится к типу молодых женщин, которые нуждаются в партнере-«отце», намного старше. Ровесников они на дух не переносят

и даже бояться. Вы же ей очень понравитесь. Я устрою вам встречу.

– Да ни за что на свете! – всколыхнулся он. – Я с уважением отношусь к вашему хобби, оно очень интересно, но, пожалуйста, не превращайте меня совсем уж в подопытного кролика! Пока это касалось меня одного – ладно. Но ставить себя в дурацкое положение... и не меня одного, а еще какую-то одинокую, наверное, робкую девушку... Оставим этот разговор, прошу вас.

– Никто вас насильно не женит. Но вы могли бы сделать это для меня, – проникновенно сказала Елифьева. – Чтобы помочь мне в моих изысканиях. Это такая уникальная возможность – проверить теоретические предположения на практике, с участием высокообразованного, умного «рационала». Одна-единственная встреча. Потом вы поделитесь со мной своими впечатлениями, я всё запишу и, клянусь вам, никогда больше не буду вам этим докучать.

Ему стало стыдно за свое раздражение.

– Я, конечно, очень вам обязан. Вы помогли Аде, вы были так добры, так любезны. Если вам это действительно очень нужно...

– Очень!

– Хорошо, я готов. Один раз. Но как это будет происходить?

– Не беспокойтесь. Я знаю вас обоих и организую встречу каким-нибудь естественным, приятным образом.

– Нет, – снова испугался Клобуков. – Какими глазами я буду смотреть на девушку, которая знает, что меня к ней сватают? Ради бога, увольте меня от этого позора!

– Тина ничего не будет знать. Я вам открыла все карты заранее, потому что вы «рационал», и для вас так лучше. А «эмоционалу» лучше плыть по течению жизни, не заглядывая под воду.

– И все-таки это очень неловкая ситуация. Что если она заподозрит или догадается?

– Кто, Тина? Да она про такие вещи вообще не думает. Мужчины ее совершенно не интересуют. Чувственность там нулевая. Как и у вас. Я ведь говорила, что физиологические параметры должны совпадать.

– Чувственность у меня в мои годы, вы правы, нулевая, – признал Антон Маркович. – Я привык обходиться без этой стороны жизни и возвращаться к ней мне уже поздно. Вот еще одна причина, по которой мне не следует жениться.

Сказать такое горбунье, которая наверняка «этой стороны жизни» никогда и не знала, было нетрудно.

– Хорошим партнерам необязательно иметь половые отношения. Есть связи более важные и крепкие, не зависящие от гормонов, – спокойно заметила Епифьева. – И вы двое именно такая пара. Если мой диагноз верен, вы с первой же минуты почувствуете к Тине безотчетную симпатию, а она – к вам. Вместе вам будет очень хорошо. Вы как «рационал» немедленно найдете этому какое-то объяснение. Тина ничего придумывать не будет, просто ей не захочется с вами расставаться.

– А если всё будет не так?

– Тогда мне придется коренным образом пересматривать методологию, а может быть и самую теорию. И я буду бесконечно благодарна вам за то, что вы помогли мне откорректировать систему. Ну же, Антон Маркович! Одна-единственная встреча, и вы со мной не только будете в расчете, но я останусь перед вами в долгу. Помогите горбатой, хромой старухе, которая пытается придать смысл своей одинокой жизни.

Ясные глаза лукаво блеснули под стеклышками.

– Кукловодка и манипуляторша – вот вы кто, – проворчал Клобуков, сдаваясь.

Жанна Самари

В воскресенье, после обычного сеанса ингаляции, Мария Кондратьевна торжественно сказала:

– Юстиночка, у меня есть для тебя подарок. Ты такая умница! Наступили холода, а бронхи чистые, и не кашляешь. Это заслуживает награды.

– Какой подарок? – спросила Тина, заранее улыбаясь. – Вы как фея из сказки, все время меня чем-нибудь одариваете, а сами подарков не принимаете.

– Мы же договорились. Проходишь тест, и я твоя вечная должница. Буду поклоняться тебе, как римляне весталке.

– Помню-помню. – Тина засмеялась. – Кончилось тем, что вы меня живьем похоронили на Кампо Сцелерато, хоть девственности я и не теряла.

– Ты сама себя закопала. Сказала, что не можешь подвести того, кто тебе доверился. Цитирую: «После такого предательства я все равно жить не смогла бы. Лучше задохнуться под землей, чем потом съесть себя заживо». Я запомнила эту максиму. Вы редкий экземпляр, гражданка Белицына.

– Белая ворона, мне часто это говорят. А что за подарок?

– Куда бы ты очень-очень хотела попасть, но не имеешь на это никаких шансов?

– В Рим, конечно.

– Не так далеко. И не до такой степени фантастично. Думай еще.

– Здесь, в Москве? Не знаю. В Кремль. Его три месяца как открыли для публики, я несколько раз пробовала попасть, но такие очереди. Как-нибудь наберусь терпения и отстою. Очень хочется прикоснуться к истории.

– В место, про которое я говорю, попасть труднее, чем в Кремль. А тебе вообще невозможно. Ладно, подсказываю: на прошлой неделе я тебе запретила про это даже думать. Ты расстроилась.

– Нет!!! – закричала Тина. – Не может быть! Неужели вы раздобыли билет на выставку в Пушкинский?!

Неделю назад там открылась экспозиция французского искусства. Из хранилищ достали запрещенные картины художников двадцатого

века, чьи имена Тина знала только понаслышке. Каждый день выстраивалась очередь чуть не до метро «Кропоткинская». Можно было отстоять весь день и не попасть. Мария Кондратьевна сказала, что несколько часов на холоде – это верный бронхит.

– Лучше, чем билет. Персональная экскурсия. Притом не в толпе, а по пустым залам. Завтра, в понедельник, когда музей для посетителей закрыт. Ты ведь по-прежнему работаешь дома? Сможешь в двенадцать прийти к служебному ходу? Он с Антипьевского переулка.

– Мне нужно занести рукопись в редакцию, но я отменю... Ой, неужели правда? Вы волшебница! Как, как вам удалось?

– Ты знаешь, у меня повсюду свои люди, преступная сеть почище сицилийской мафии. – Мария Кондратьевна с удовольствием смотрела на раскрасневшуюся собеседницу. – После нашего разговора я вспомнила, что одна моя респондентка работает в дирекции музея. Эльвира Иосифовна Скрынник. Позвонила ей, она всё организовала. Сама нас проведет, покажет и расскажет. Лучше бы, конечно, просто показала. Экскурсовод из нее вряд ли хороший. Она «полупустой-акцептор-бульдог», это так себе рассказчики. И образование у нее не искусствоведческое, а идеологическое – высшая партшкола. Но отказываться было невежливо, Эльвира Иосифовна очень хочет сделать приятное. Отключим слух, оставим только зрение.

– Вы идете со мной? Тогда это вообще сказка! Я бы одна стеснялась.

– Конечно, иду. Я не видела импрессионистов со времен Музея нового западного искусства, его закрыли вскоре после войны. Нас будет трое. Я пригласила еще одного респондента. Он завтра тоже свободен, у него «академический» день. Антон Маркович Клобуков – знаменитый анестезиолог, член-корреспондент. Такой настоящий старорежимный интеллигент.

Тину не удивило, что среди знакомых Марии Кондратьевны есть академик. Круг ее связей был обширен и совершенно непредсказуем.

Вечер Тина провела в предвкушении. Утром всё же съездила на Ленинский, в редакцию, потому что обещала, но снимать вопросы по рукописи не стала. Объяснила заведующему, какое у нее сегодня событие, и Аркадий Брониславович сказал: «Конечно-конечно, идите, счастливица. Потом изобразите нам «Завтрак на траве» и матиссовские

танцы». Анну Львовну, когда-то до революции бывавшую еще в частных галереях Морозова и Щукина, эта реплика очень развеселила, но в чем состояла шутка, Тина не поняла.

К служебному входу в музей она явилась за пять минут до назначенного времени. Марии Кондратьевны еще не было, но стоял пожилой мужчина в шляпе, солидном пальто и круглых старомодных очках, то ли суровый, то ли чем-то расстроенный. Они вопросительно посмотрели друг на друга.

– Вы Юстина... простите, не знаю отчества? – нерешительно спросил мужчина и очень понравился Тине своей неуверенностью, редкой у людей, добившихся положения.

– Да. А вы Антон Маркович?

Он слегка поклонился, церемонно приподнял головной убор, поглядел на нее с опаской и отвел глаза. Да он меня стесняется, поняла Тина. Какой славный! И чем-то на папу похож.

– Я так волнуюсь, – сказала она как можно мягче и приветливей. – Знаете, я редко хожу в картинные галереи, потому что живопись – не вся, конечно, а некоторые картины – очень сильно на меня действует. Не сюжетами, а, не знаю, внутренней мощью, сочетанием цветов. Я читала, что французские импрессионисты не имеют себе равных по части колористики.

– М-да, – промямлил Каблуков – нет, кажется, Клобуков. – Колористика, да... Собственно, дело в том, что Мария Кондратьевна не придет. Она мне позвонила, а у вас, насколько я понял, телефона нет. Ей с утра нездоровится, простыла. Говорит, ничего страшного, но лучше на улицу не выходить. Так что мы будем вдвоем.

– Я ее потом обязательно проведу.

Он переминался с ноги на ногу, какой-то трогательно беззащитный. Нужно было брать инициативу, а то они так и будут тут топтаться. Обычно, встречаясь с новыми людьми, Тина испытывала неловкость и смущение, но сейчас ей хотелось только, чтобы деликатный и, видимо, не очень приспособленный к жизни академик перестал ее сторожить.

– Идемте? – улыбнулась она. И вошла в дверь первой.

К ожидавшей у проходной полной дамы, очень похожей на Крупскую, тоже подошла безо всякого стеснения. Поздоровалась, представилась, объяснила про нездоровье Марии Кондратьевны.

– Заместитель директора музея по идеологической работе Скрынник. Здравствуйте, товарищ академик.

Дама протянула руку только Клобукову и потом все время обращалась исключительно к нему. Тины здесь словно и не было, что ее отлично устраивало. Она даже на несколько шагов отстала, чтобы не отвлекаться на комментарий – как и предсказывала Мария Кондратьевна, очень скучный.

– ...В тех условиях партия решила, что нет необходимости занимать драгоценное музейное пространство произведениями упаднической культуры, вызывающими у психически здоровых людей лишь удивление и досаду. Партия нас учит, что всякая публичная экспозиция неминуемо становится актом пропаганды. Зачем же пропагандировать то, что привлекает лишь узкий круг пресыщенных гурманов, извращенный вкус которых не является нормой для советских людей. Они всегда отдавали предпочтение здоровому, гуманистическому течению искусства: Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Тициану, Рубенсу, Рембрандту, Делакруа. Но в свете последних решений нашего правительства руководство музея взяло на себя ответственность, в сугубо информационных целях, рассчитывая на возросший уровень сознательности москвичей...

Тина остановилась как вкопанная перед картиной, на которой совершенно голая женщина, как ни в чем не бывало, сидела на траве, у накрытой скатерти, перед двумя одетыми мужчинами. Это и был «Завтрак на траве», про который говорил завредакцией.

Какая пошлость – предлагать, чтобы Тина изобразила такое перед коллегами! Как могла Анна Львовна, интеллигентная женщина, смеяться этой с позволения сказать шутке, уместной в какой-нибудь казарме!

– Минуточку, Эльвира Иосифовна, подождем, пока Юстина любуется Эдуаром Манэ.

– Нет-нет, эта картина мне совсем не нравится, – поспешно сказала Тина, отходя.

– По крайней мере там изображены люди, похожие на людей. Чего не скажешь, например, – сопровождающая показала на огромное сине-оранжевое полотно, занимавшее половину стены, – про сугубо формалистское панно Матисса «Танец».

Остановились перед ним.

– Вам как? – тихо спросил академик.

– Не знаю, – пробормотала Тина. – Разве что цвета...

– Я тоже к Матиссу равнодушен, – оживился Антон Маркович. –

Во времена моей юности все сходили по нему с ума. Один знакомый отца, некий Бердышев, приобрел две картины, мы ходили смотреть. Все восторгались, а я чувствовал себя дубиной.

Вот в следующем зале у Тины от волнения закружилась голова. Почти каждая картина здесь была потрясением. Одни холсты отталкивали от себя энергетическим ударом, но не позволяли отвести глаз. Другие, наоборот, будто втягивали. Эти, вторые, ей нравились больше. Но и первые, агрессивные, были очень, очень хороши.

Тина шевелила губами, запоминая имена художников.

Откуда-то издалека неслись лишённые всякого смысла слова:

– ... В то самое время, когда наши передвижники поднимали острые социальные проблемы и творили искусство, понятное народу, западная живопись все глубже увязала в болоте элитарного эстетизма, скатившись из относительно демократичного импрессионизма в откровенно декадентский постимпрессионизм, а затем и в кубистскую заумь...

– Я вижу этот зал вам понравился больше, – негромко сказал Антон Маркович, медленно двигаясь за экскурсоводшей.

– Это чудо. Особенно Монэ! Который через «о», Клод. Посмотрите на этих чаек! Господи, я слышу их крик, чувствую запах тумана!

– Да, прекрасно.

Они постояли рядом. Молча.

– Идемте к Пьеру-Огюсту Ренуару, – позвала товарищ Скрынник. – Этот художник хоть и принадлежал к импрессионизму, но развивал в своем искусстве здоровое рубенсовское начало. Его работы дышат любовью к человеку, оптимизмом и гуманизмом. От них остается ощущение «и жизнь хороша, и жить хорошо», как писал Владимир Маяковский.

Несмотря на то, что работы Ренуара чем-то там «дышали», Тине они тоже очень понравились. Конечно, многовато румяных щек и упитанной плоти, но общий эффект действительно какой-то пьяняще-радостный. Смотришь – и щекочет в носу, как после бокала шампанского, которое пили в редакции в день выхода древнегреческого словаря.

Она обернулась, чтобы посмотреть, действуют ли эти картины на Антона Марковича таким же образом.

Оказалось, нет. Он застыл перед одним портретом – с совершенно перевернутым, даже трагическим лицом.

Заинтригованная, Тина приблизилась.

Ничего шокирующего. Обворожительная, полная жуа-де-вивр, жизненной радости, молодая женщина с блестящими смеющимися глазами. Абсолютный шедевр. Подпись «Жанна Самари».

– Почему вы так смотрите на этот портрет? Он вам кого-нибудь напоминает?

Совсем не в Тининых привычках было задавать подобные вопросы малознакомым людям, но с Антоном Марковичем она чувствовала себя на удивление свободно.

Он уставился на нее чуть ли не с ужасом:

– Как вы догадались? Нет, внешне не похожа, но... Но...

Нервно потер лоб, передернулся, будто отгоняя какую-то мысль или видение.

– Извините... Извините... Спасибо, Эльвира Иосифовна, мне нужно идти... У меня срочное дело, я совсем забыл... Неважно!

Махнул рукой и в самом деле ушел, большими быстрыми шагами.

– Вы его чем-то обидели? – сурово спросила заместительница директора, не слышавшая их разговора. – Что вы ему сказали?

– Ничего, – растерянно произнесла Тина, глядя вслед Клобукову.

Какой странный! И почему его так жалко?

Беседы с Пифией

Мало кому так повезло в жизни, как мне, часто думала Епифьева. Конечно, она знала про себя, что является стопроцентно «полуполной» и склонна во всём находить плюсы, но дело не в субъективной оценке. Она и объективно всегда была феноменально везучей, а если какие-то события вначале представлялись жестоким ударом судьбы, то потом неизменно оказывались ее щедрым подарком.

Невозможность продолжать работу вместе с любимым Учителем казалась – и была – огромной, невосполнимой потерей. Еще и весь мир тогда, в четырнадцатом, вдруг повел себя, словно шизофреник в суицидальном раптусе, а потом начались испытания гражданской войны, ценность отдельной человеческой жизни упала до нуля, и возникло ощущение, что прежняя цивилизация издыхает в корчах, а при новой, классовой-массовой, лозунговой-плакатной, политически грамотной бережно подбирать код к сейфу человеческой психики никому не понадобится – эпоха взламывает души стальным ломом.

И что же? Одинокое плавание стало величайшим благом. Иначе «Мари Эпи», как называл ее профессор, так и осталась бы старательной ассистенткой, не вышла бы из тени гения и считала бы себя «освоителем». Какое это было бы заблуждение, какая потеря! Вынужденная независимость вывела ее на путь «искательства», заставила пойти собственной дорогой. Сколько там было удивительных озарений, пьянящих побед, интересных ошибок, а сколько захватывающих встреч!

Дожить до старости в стране, где средняя продолжительность жизни в двадцатом веке, с учетом многих миллионов погибших, вряд ли доходит до тридцати лет – это счастье.

В семьдесят два года не быть никому обузой – счастье.

Быть нужной большому количеству людей, а в перспективе, через эгохимическую теорию, пригодиться и всему человечеству – невообразимое счастье.

Существовать в комфорте и достатке, когда вокруг сплошная неустроенность, нужда, теснота – тоже счастье, хоть и несколько стыдное.

Но главное счастье, конечно, азарт поиска. Люди так бесконечно интересны! Раскладывание их по эгохимическим ячейкам лишь подтверждает неисчерпаемость каждой личности. Только помоги ей понять себя, а дальше она, словно подросший птенец, раскроет крылья и полетит в небо – куда захочет.

В общем, Мария Кондратьевна буквально купалась в счастье. Она определенно была баловнем судьбы – что женщине вроде бы и не положено, иначе существовало бы выражение «баловница судьбы».

Разумеется, дорога к жизненному успеху потому и открылась, что повезло родиться горбуньей, то есть заведомо, по праву рождения, избавиться от чувственной любви, семьи, материнства и прочих женских обременений. Какая это упоительная свобода – принадлежать самой себе! Кривой позвоночник и короткая нога, все эти боли и физические неудобства – ей-богу весьма умеренная плата за такую драгоценную привилегию.

В подобных приятных мыслях Епифьева коротала время в ожидании отчета удачно составленной пары. Никаких сомнений в том, что Антон Маркович и Тина Белицына понравятся друг другу, у нее не было. Но важны были детали и нюансы: что каждый из них чувствовал, каковы были первые впечатления и реакции. Вся эта информация пригодится и для уточнения диагнозов, и на будущее.

Гораздо интересней, конечно, было бы послушать Клобукова, потому что он знал про истинный смысл встречи и, конечно, проанализирует ее по-своему. Но первой пришла Тина, принесла мнимой больной молока и меда.

Выслушав горячие благодарности и всякое несущественное про Сислея да туман над Темзой, Мария Кондратьевна как бы между делом спросила про «академика» – не правда ли, симпатичный?

– Да, – ответила Тина. – Совсем не важничает, деликатный, интеллигентный, но очень уж нервный. Вдруг сорвался и ушел. Мы с экскурсоводом даже растерялись. Что произошло, я не поняла. И теперь никогда уже этого не узнаю.

Вздыхнула – это было отлично. А про Клобукова очень интересно. Его формула никак не предполагает импульсивности, порывистости – только при каком-нибудь сильном потрясении. Но какое на художественной выставке может быть потрясение?

– Жаль, что у тебя не было возможности поговорить с Антоном Марковичем. Он личность недюжинная.

– Это видно. Но о чем ему со мной разговаривать? Он большой человек, член-корреспондент, а я серая мышка-норушка. Вы его хорошо знаете?

Но Епифьева перевела разговор на свое неважное самочувствие и усталость. Во-первых, рано было фиксировать «невесту» на «женихе», пусть душа сама проделает свою работу. Во-вторых, надо было поскорее Тину спровадить, а то придет Антон Маркович – им во второй раз пока встречаться не нужно.

После ухода Тины прошел час, другой, а Клобуков всё не появлялся.

В конце концов Мария Кондратьевна позвонила ему сама.

Голос у Антона Марковича был вялый, несчастный.

– Неужели моя кандидатка вам не понравилась?

– Нет, она чудесная. Не в ней дело.

– А в чем?

Молчит.

– Знаете, я действительно простудилась, – сказала Епифьева. – Соседей нет дома, а нужно полечиться. Огромная просьба. Не могли бы вы мне купить аспиринов и молоко? Мед есть. Заодно расскажете, как всё прошло.

Пришел к больной старушке как миленький – ему, конечно, и самому хотелось выговориться. Тинину бутылку Епифьева спрятала.

Сказал:

– Да, ваша Юстина – прелесть. Просто «Серебряный век». Сейчас такие девушки повывелись. Ноль жеманства, простота поведения при внутренней сложности, тонко чувствует живопись. И, кажется, очень умная. Не понимаю, почему вы записали ее в «эмоционалы».

– Уровень ума напрямую не связан с рациональным или эмоциональным восприятием жизни. «Рационалы» часто бывают весьма недалеки, просто любят резонерствовать. Ну а пример глубокого мыслителя-«эмоционала» – Федор Михайлович Достоевский.

– А еще у нас с Юстиной полностью совпадают художественные вкусы, – мрачно сказал Клобуков.

– Почему вы об этом говорите похоронным тоном?

Лицо Антона Марковича страдальчески исказилось.

– Мы стояли перед картиной Клода Моне, которая нам обоим очень понравилась. Плечо к плечу. Я вдруг на минуту представил, что это моя жена, что мы пришли на выставку, а потом пойдём домой, будем обсуждать увиденное – как это было бы замечательно. Вы, конечно, правы – мне часто не хватает умного и заинтересованного собеседника, чтобы обсудить и перепроверить мысли, над которыми я ломаю голову... Но в следующем зале я увидел женский портрет... И это была моя Мирра. Неважно, что непохожа, но эта жадность к жизни, принятие её такою, какая она есть, этот взгляд... Будто Мирра смотрит на меня, замурованная под стеклом, а я... А я... – Он задыхался. – А я только что её предал. Был готов предать... Невыносима мысль, что я – предатель. Хотя, казалось бы, чему удивляться, – добавил он тихо, про что-то вспомнив, и совсем расклеился.

– Выпейте-ка вишневой наливки, – сказала Мария Кондратьевна. – Очень вкусная, соседка делает. И расскажите мне про вашу покойную супругу. Я же вижу, вам нужно сейчас о ней поговорить.

Рассказывал он долго, не меньше часа. То складно, то сбивчиво – перескакивал с одного на другое. Несколько раз утирал слезы.

Она задала несколько вопросов. Разлила чай.

– А теперь послушайте меня. Мои слова вас шокируют, даже вызовут негодование, но это очень важно. Вы любили Мирру, утрата осталась для вас незаживающей раной, однако это не ваш тип. Такая жена мешала вам развиваться. С ней вы не написали бы вашего трактата, а ведь это, может быть, самое важное дело в вашей жизни.

Клобуков, естественно, сначала сдвинул брови, но после взволнованного рассказа эмоциональных сил на возмущение у него не осталось.

– Не написал бы трактата... – Он горько усмехнулся. – Я любил Мирру. Всё остальное не имеет значения. Без неё моя жизнь – не жизнь.

– Жизнь – всегда жизнь. Если жить, а не предаваться жалости к себе, – отрезала Мария Кондратьевна, потому что сейчас была нужна резкость. – Есть три железных правила, без которых невозможно сохранять достоинство. Что бы ни случилось, никогда себя не жалеть. Это первое. Второе: никогда ничего не бояться. Любая беда – всего лишь испытание, которое нужно выдержать. Сдай этот экзамен, и ты перейдёшь в следующий класс.

– Привет вам от блаженного Шопенгауэра. Эта философия хороша для одиночки, который никого не любит. Любящий всегда живет в страхе – за того, кого любит.

– Любовь – это роскошь, – тихо сказала Епифьева. – А за роскошь не жалко дорого заплатить. Если придется, то и болью. Но не страхом. Я никогда никого *так* не любила, вы правы, но мне кажется, что любить со страхом – это обкрадывать свое счастье.

– Вы сказали три железных правила? – помолчав, спросил Клобуков.

– Третье такое: не вздыхать по тому, чего у тебя нет, а сполна пользоваться тем, что у тебя есть. Это всегда немало – то, что у тебя есть. И самое главное богатство – диапазон выбора. Чем он шире, тем ты богаче.

Пришло время снизить эмоциональный накал разговора, и Мария Кондратьевна тихонько засмеялась.

– Это великое открытие я сделала в одиннадцатилетнем возрасте, когда начала самостоятельно мыслить. У детей-инвалидов этот процесс начинается раньше. Был 1894 год. На престол взошел Николай. Я подслушала разговор взрослых. Они царя жалели. Говорили: молодой оболтус, любит спорт, музыку, балерин, в государственных делах ни черта не смыслит, никогда ими не интересовался, а деваться некуда. Раз ты цесаревич – иди царствуй. И я вдруг подумала: а я богаче царя! Потому что у него выбора нет, а у меня есть. Можно пойти в монашки, как уговаривает няня. А нищий на паперти мне позавидовал. Эх, сказал, мне бы горб, горя бы не знал, все бы подавали. Можно взять суму и пойти с ней по Руси, всюду приютят, пожалеют, накормят. Можно поселиться на даче и каждый день гулять по лесу. А бедняжке Николаю ничегошеньки нельзя – только быть царем.

У Антона Марковича морщины на лбу разошлись.

– У меня в госпитале был один раненый, одноногий, точно такой же позитивист. Радовался, что, во-первых, остался жив и теперь вернется к семье. Во-вторых, слава богу отрезали не руку – можно работать. Развешивал по вагонам объявления: «У кого осталась левая нога 43 размера айда со мной на рынок обувь покупать».

Посмеялись. Потом он снова посерьезнел.

– Мария Кондратьевна, общение с вами доставляет мне несказанное удовольствие. Я буду счастлив, если вы позволите бывать у

вас запросто. Но очень вас прошу навсегда оставить матримониальную тему. Пожалуйста, пообещайте.

– Обещаю, – легко согласилась она.

И незачем с ним теперь говорить о Тине. Живете вы, голубчики, по соседству и, если до сих пор не обращали друг на друга внимания, поскольку оба витаете в облаках, то теперь, встретившись, никуда не денетесь – вступите в разговор. Случай вас сведет, а остальное сделает эгохимия.

– Давайте просто поговорим, не о психологии, – предложил Антон Маркович. – Ужасно соскучился по нормальному общению. Даже забыл, что оно – нормальное. Знаете, – улыбнулся, – я про себя придумал вам прозвище.

– Надеюсь, не Квазимода?

– Нет. Пифия. Потому что вы похожи на жрицу-прорицательницу и потому что ваша фамилия Епифьева. Я вот о чем думал на этой замечательной выставке. Невеликое вроде бы событие – в музее выставили живопись. Но я прочитал, что скоро будет неделя французского кино, потом неделя итальянского кино. Кремль открыли для посещения. Кремль! Где работал Сталин! Самое главное, конечно, что из лагерей и тюрем возвращаются люди. Клетка открывается, понимаете? Я почему не люблю советскую власть... Видите, сказал такое и даже не оглянулся на дверь. Тоже знамение эпохи... Потому что суть коммунизма в том, чтобы загнать живых людей в клетку некоей теоретической конструкции, калечащей судьбы. Каждый отдельный человек, если это не Вождь, ничего не значит. Я видел, как постепенно сужается клетка, как сжимаются зазоры между железными прутьями, так что внешний мир уже не виден и нечем дышать. И вот – движение в обратную сторону. Нечто подобное происходило после кошмара Гражданской войны, в двадцатые. Сейчас, конечно, всё скучнее, приторможенней, но лучше, намного лучше. Потому что тогда пруд постепенно замерзал, полынья становилась всё уже, а сейчас наоборот. Каждый месяц чуть-чуть теплее, и лед тает.

– Основное, что происходит – реабилитация приватного мира, – сказала внимательно слушающая Мария Кондратьевна. – В мире надчеловеческом, где все идут строем и в ногу, моей эгохимии делать нечего.

– Да, да! – подхватил Клобуков. – Я часто об этом думаю, только по-другому называю. Приватность, человеческие отношения, любовь, дружба – это Малый Мир. А пространство, в котором властвует политика, идеология, общественная или государственная целесообразность – это Большой Мир. Чем в худшем загоне Малый Мир, тем тяжелее жизнь.

– Категорически не согласна с вашими терминами, они переворачивают всё с ног на голову. Частный, индивидуальный мир больше общественного. Общество всего лишь продукт соединения и взаимодействия миллионов «я» – соединения конструктивного или деструктивного, в зависимости от того, счастливы или несчастны все эти «я». Хорошей страны никогда не получится, если ее населяют растерянные, не понимающие самих себя, бессмысленно живущие люди...

– Но об этом я и пишу свой трактат! – перебил всегда корректный Антон Маркович – так он был взволнован. – О смысле и цели нашего существования. О формуле правильной жизни. Я называю ее «аристономия». Аристономический, то есть правильно живущий человек, должен обладать шестью качествами: стремлением к развитию, чувством собственного достоинства, выдержкой, мужеством, а также уважением и сочувствием к окружающим. Каждый элемент тут обязателен, потому что...

– Всё это прекрасно, – в свою очередь перебила собеседника Мария Кондратьевна, тоже увлекшись дискуссией, – но ваша формула имеет дефект. Она универсальна, а люди, живые люди, не универсальны, они уникальны. Придется каждому эготипу перекраивать вашу аристонномию по фигуре. А еще вы не учитываете, что человек в разные периоды своей жизни не один и тот же. Правила жизни «утром», «днем» и «вечером» будут неодинаковы!

И она повернула на своё – то, о чем в последнее время много думала. Заговорила о самом неисследованном, самом загадочном возрасте – о старости.

– Если человек обошелся со своей жизнью правильно (а мы оба согласны, что при этом личность постоянно развивается), то с каждым годом он должен становиться всё лучше и лучше, так ведь? В сорок лет он будет лучше, чем в тридцать, в восемьдесят лучше, чем в семьдесят, а если доживет до девяноста, то вообще должен превратиться в

бодхисатву. Если же движения вперед и вверх не происходит, значит, человек со своей жизнью что-то делает не так.

– А дряхление? Болезни? Ограничение возможностей?

– Да, тело перестает быть источником радости и становится всё большей тяготой, но здесь есть великий смысл: это действует физиологический механизм постепенного отключения страха смерти, ведь с изношенным телом не жалко расставаться.

– Я человек не религиозный. Это значит, что расставаться мне придется не только с телом, но и с душой.

– Откуда вы это знаете? Вы уже умирали?

Одним словом, беседа вышла замечательно увлекательная. Оба собеседника получили от нее огромное удовольствие.

Антон Маркович ушел в восьмом часу, и Епифьева хотела внести в его досье кое-какие коррекции, но сестра за стол не успела.

В дверь трижды позвонили. Соседей дома не было, они еще в обед ушли в «Химтовары» стоять за хозяйственным мылом, пообещали взять и на долю Марии Кондратьевны.

Епифьева прохромала по коридору, открыла.

На лестнице стоял, переминался с ноги на ногу незнакомый человек. В габардиновом плаще и шляпе, сильно сконфуженный. Интересно. Солидная одежда и смущение дисгармонировали с молодым, мужественно красивым лицом, спортивной фигурой. Первый визуальный анализ: уверенный, даже оборотистый в обычной жизни «акционист», оказавшийся в непривычной и психологически некомфортной ситуации.

– Вы, я так понимаю, гражданка Епифьева, – сказал неизвестный. – Мария Кондратьевна, правильно?

Не интеллигент. Назвал «гражданкой», а не по имени-отчеству, сразу дал понять, что узнал по горбу – кто-то ему меня описал, уточняющий вопрос «правильно?» тоже не из лексикона человека воспитанного. В каком же смысле тогда шляпа?

– Проходите, пожалуйста. Вы...?

– Кочанов моя фамилия. Сергей Кочанов, можно без отчества. – Вошел, снял головной убор. Аккуратная стрижка, пахнуло одеколоном – следит за собой. – Я по рекомендации Кучумова Пал Семеныча.

Опять дискордия. «По рекомендации» – выражение сложное, «Пал Семеныч» – просторечие. Какая-то гибридная профессия, сочетающая канцелярит с коммуникативной незамысловатостью.

Павел Семенович Кучумов был респондентом и клиентом, «честолюбивый-освоитель» с отличной бульдожьей хваткой, директор магазина «Колбасы». Епифьева подобрала ему отличную пару. С тех пор Кучумов каждый месяц первого числа присылал подарок – кольцо краковской. Эту колбасу, которую без очереди не купишь, Мария Кондратьевна любила с детства.

– В общем, мне бы тоже... В смысле, хорошую невесту найти. Короче, жениться мне пора, вот что, – совсем засмутился Кочанов, и Епифьева немедленно начала его тестировать.

– Пора потому что, как поется в песне, сердцу хочется «хорошей, большой любви»? – улыбнулась она. – Вы снимайте плащ, милости прошу в комнату.

– У меня очередь на жилплощадь подошла. Я, конечно, со своей стороны председателя жилкомиссии простимулировал в плане поддержки. Он посоветовал: «Женитесь. Если один – получите комнату максимум 12 метров, а если молодая семья – можно ставить вопрос об отдельной квартире». Вот я и подумал. Жениться все равно рано или поздно надо, а ошибиться в человеке неохота. Будешь потом разводиться, разъезжаться...

«Рационал», ясно. И похоже, что «освоитель».

– Странно, что такой привлекательный, современный мужчина не может найти себе спутницу жизни сам. Как вам пришло в голову воспользоваться дедовским способом поиска невесты?

– Кучумов сказал, у вас способ не дедовский, а научный. Я науку уважаю. И вообще считаю, что во всяком серьезном деле лучше доверяться профессионалу.

Или «искатель»?

Сели к столу. Кочанов огляделся вокруг.

– Затейно живете. Будто в шкатулке, где заперто старое время.

Неужто ты, голубчик, «креативист»? – удивилась про себя Епифьева. Только человек отвлеченно-художественного склада мог такое сказать. Curiouser and curiouser^[4].

– «Шкатулка запертого времени» – хорошо сказано.

– У вас красиво. Я люблю красивое. [Он еще и «артист»!]. Надеюсь, вы и невесту мне подберете с хорошими внешними данными. Я больше брюнеток люблю.

– Женщина покрасит для любимого волосы в такой цвет, который ему нравится, не беспокойтесь. Павел Семенович объяснил вам, как я работаю?

– Да. Только давайте сначала про оплату договоримся. Материально я человек обеспеченный. Могу соответствовать на уровне Кучумова.

– Вы тоже по торговой линии?

– Скажем так – по хозяйственной. Устроит вас такой же гонорар, какой вам заплатил Павел Семенович?

– Меня устроит любой гонорар. Даже нулевой, – озадаченно сказала Мария Кондратьевна. «Креативист-артист» не должен был бы так акцентировать материальный аспект – сразу бы заинтересовался спецификой поиска невесты. Вероятно, сказывается прагматическая профессия.

– Да бросьте вы – нулевой. Обижаете. Пал Семеныч говорил, что в первую годовщину свадьбы принес вам в конверте пять тысяч. Если буду доволен женой – мне это запросто. Договоримся на таких условиях?

– Хорошо.

– Не хорошо, а отлично и даже замечательно. – Кочанов сунул руку во внутренний карман. – Потому что пять тысяч рублей, гражданка Епифьева, это уже «особо крупное». Вы только что подтвердили показания, данные на допросе гражданином П.С.Кучумовым.

– На каком допросе? – удивилась Мария Кондратьевна.

– В УБХСС. Давайте я теперь представлюсь по всей форме. Оперуполномоченный Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности старший лейтенант Кочанов.

На ладони лежала книжечка с печатью и фотографией.

– Мы взяли Кучумова за разные шахер-махеры, ему ломится от пяти до пятнадцати – это уж как прокурор запросит. Но товарищ подполковник сделал арестованному выгодное предложение. Сдавайте, говорит, Пал Семеныч, всех нарушителей соцзаконности, кого знаете. За каждого, кого принесете в клюве, вам от прокурора будет скощуха. За крупную рыбу по году, за среднюю по полгодика, за мелочь – по

месяцочку. Вот Кучумов и старается. Ему до пятилетнего срока немножко дотянуть осталось. Вспомнил про сваху. Дальше у нас с вами неинтересно будет. – Старший лейтенант вздохнул. – Сейчас поедem в отдел. Будем показания снимать. Очная ставка со свидетелем, то-сё. Соберите сумку. Ночевать вы будете в другом месте.

– Как интересно! – воскликнула Елифьева. – Мой отец тоже был криминалистом. И как печально.

– Что вы попались? – ухмыльнулся милиционер.

– Нет. Что вы расходуete свою жизнь на дело, к которому не имеете ни вкуса, ни призвания. Мой-то отец свою работу любил. А вы своей томитесь.

– С чего вы взяли? – изумился Кочанов.

– Вернее так. Вы блестяще, с увлечением изобразили клиента. Очень убедительно разыграли смущение. Ввести в заблуждение меня – это дорогого стоит. Но стоило вам скинуть маску, и в глазах появилась скука. Вам не нравится милицейская работа, вам нравится лицедейство.

– Протоколы да отчеты-рапорты писать – занятие, конечно, кислое, – пожал плечами оперуполномоченный. – Но куда деваться? Работа она и есть работа.

– Как «куда деваться»? – рассердилась Мария Кондратьевна. – Сколько вам лет, Сергей?

– Двадцать девять. А что?

– А то, что у вас вся жизнь впереди! И вы не смеете выкидывать ее в мусор! У вас явный талант актера. Эти способности нужно развивать. Я позвоню моему доброму знакомому, он ведет курс в Щукинском училище. Попрошу послушать вас.

Молодой человек присвистнул.

– Правду Кучумов говорил. Вы уникальная старушка. Мне каких только взяток не предлагали, но такую – впервые. И главное, тут даже за попытку подкупа не привлечешь.

– Это не подкуп и не взятка. Никаких неприятностей вы мне доставить не можете, – стала объяснять Елифьева. – Во-первых, про пять тысяч было сказано без свидетелей. Во-вторых, статья, которую вы мне, как у вас называется, «шьете» – незаконная частнопредпринимательская деятельность – это срок до трех лет, причем инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры освобождаются от отбывания, иначе государству пришлось бы взять на

содержание всех военных калек с бабушками, продающими редиску. Начальник скажет вам, что на меня жалко тратить бумагу и время. Но что по-настоящему жалко, так это губить свой талант и тратить жизнь на всякую чепуху. Вот чем вы занимаетесь, Сергей? Разоблачаете подпольных портних, зубных техников и мелких коммерсантов? Вам самому не тоскливо? Вы могли бы быть не Кочановым, а Качаловым!

Старший лейтенант слушал, не перебивал. Уже хорошо.

– Послушайте, давайте с вами сыграем в одну игру. Вы должны любить игры, я уверена.

– В карты играю, по воскресеньям. Есть такая американская игра – покер, на чуйку. Не на деньги играю, – быстро добавил он. – На интерес.

– Какой это интерес? Вот моя игра – настоящий интерес. Я буду описывать вам ситуацию, а вы – принимать решения. И в результате вы узнаете про себя то, о чем даже не догадывались.

Кочанов засмеялся.

– Занятная вы старушенция. Ладно, сыграем в вашу игру. Но потом поедem в отдел. Пускай товарищ подполковник решает, как с вами быть.

– С удовольствием пообщаюсь и с вашим начальником. Судя по тому, как успешно он разговорил Павла Семеновича, это должен быть очень интересный человек. Начнем?

– Ну давайте.

– Представьте, что вы летите на самолете к морю, на юг. Внизу – заснеженные пики кавказских гор. Настроение у вас отпускное. Справа сидит пассажирка. После взлета она спала, но теперь проснулась и поглядывает на вас искоса. Представили?

– Без проблем, – кивнул он. – А какая она по внешности, моя соседка? Ничего?

– Молодая брюнетка очень привлекательной наружности – грузинка или, может быть, армянка. Погода неважная. Небо в иллюминаторе черное, в нем посверкивают зарницы, самолет то и дело ныряет в воздушные ямы...

Хребтина

Прежде чем всё сошлось, целую неделю мотались по Савеловской туда-сюда: утром от Москвы-Бутырской до Лобни, под вечер обратно.

Иван Афанасьевич Щуп девятьсот тринадцатого г. р. того стоил. Самурай никого не включал в свой список по показаниям только одного свидетеля. Мало ли – может, личные счеты или фантазии. Но со старшим лейтенантом Щупом, начальником поездного конвоя «Москва-Воркута», всё было железно. Многие через его этап прошли, всем он запомнился.

Кличка у гражданина начальника была Дубина. Не из-за тупости, это у вертухаев качество обычное, а из-за резиновой дубинки с закатанной в верхушку чугуновой гирькой. Этой штуковиной Щуп лично колошматил зэков и, если входил в раж, мог покалечить, даже забить до смерти. А в раж он входил часто, потому что вскоре после отбытия поезда тяжело напивался и впадал в бешенство. Ходил по вагонам, выискивал, к чему придраться. В пятидесятом Самурай лежал в больничке с одним паралитиком, которому Щуп своей дубинкой перебил позвоночник.

– Я из-под доходяги дерьмо вычищал, иначе он сгнил бы заживо, – рассказывал Шомберг, двигая желваками. – Он и сгнил, я думаю, когда меня выписали. Но показания Евгения Михайловича Лазарева, инженера завода «Калибр», остались. Никто не забыт, ничто не забыто. Что ты думаешь по поводу товарища Щупа, Санитар-сан?

– Очень хочу лично познакомиться, – ответил Санин.

Но личное знакомство всё откладывалось.

Первые два дня ушли на слежку – нужно было понять расписание и маршруты, выбрать удобное место. Дома исключалось, у приговоренного были соседи.

Расписание и маршруты были такие.

Утром он выходил мятый, похмельный, шел на базар, где калымил грузчиком. Со службы его, должно быть, поперли за пьянство, а может быть, в пятьдесят третьем, когда гэбуха стала из министерства комитетом и начала сокращать штаты.

Щуп таскал мешки и ящики, платили ему по два-три рубля. Как только набиралась потребная сумма, полсотни – уходил. Сумму

вычислили, потому что прямо с рынка бывший старший лейтенант шел в магазин и покупал одно и то же: две «белых головки», буханку, полкило дешевой ливерной. Чесал домой и больше никуда не выходил. Квасил, ложился спать, и утром всё повторялось.

Единственное хорошее место было на пути от магазина до дома – на пустыре. Но в светлое время могли увидеть из окон соседнего барака. Знакомиться с Щупом надо было в сумерках, а лучше в темноте, то есть после шести.

Пока Санин с Самураем вели наблюдение, так и получалось. Свой прожиточный минимум Щуп зарабатывал только к закрытию рынка, потом еще стоял в очереди за ханкой и через пустырь шел уже в темноте.

Но потом несколько дней подряд гаду везло – он набирал нужную сумму раньше. Самурай в кустах скрипел зубами от злости, когда бугай в драном кителе проходил мимо, размахивая авоськой.

Только в следующий понедельник, двадцать четвертого, всё наконец срослось.

Щуп ушел с рынка только в полшестого. Из магазина, нагруженный, пробился через толпу уже в густых сумерках.

– На исходную позицию. Работаем! – сказал Самурай. Они наблюдали из-за угла.

Побежали. Напарник задыхался, отставал, у него еще был с собой тяжелый сверток.

Едва заняли заранее облюбованное место, едва отдышались – на дальнем конце пустыря появилась массивная фигура. Щуп топал по тропинке сосредоточенной походкой алкоголика, спешащего сесть за стол.

– Давай, – шепнул Самурай.

Санин неторопливо пошел навстречу. В лицо не посмотрел, еще и зевнул, но, оказавшись за спиной у Щупа, развернулся, подскочил и с размаху вмазал кулаком (в нем свинчатка) по бычьему загривку. С одного удара Щуп не упал, только покачнулся. Пришлось двинуть еще раз, сильнее. Тогда рухнул, зазвенело разбитое стекло.

От кустов вприпрыжку неся Шомберг.

Вдвоем они оттащили бесчувственное тело в кусты, перевернули на живот, вытянули руки. Санин каблуком впечатал в землю одну кисть,

потом другую. Хрустнули кости. Для верности еще и наступил обеими ногами – чтоб не рыпался.

Самурай чуть не приплясывал. Даже запел, чего с ним никогда прежде не бывало:

Озари стон ночи улыбкой,
И стан твой гибкий
Обниму любя!
До зари, до утра прохлады
Я петь серенады
Буду для тебя!

Голос у него оказался неожиданно высокий, приятный.

Пнул лежащего ногой по уху. Тот застонал, приподнял голову, но ничего кроме санинских сапог увидеть не мог.

– Помнишь, начальник, воркутинский этап? – спросил Санин, нагнувшись. – Как зэкам кости ломал, помнишь?

Щуп промычал нечленораздельное.

– Высокий суд зэковской справедливости рассмотрел ваше дело, гражданин Щуп, и перед оглашением приговора дает вам возможность привести доводы, которые могли бы смягчить наказание. Нам такой возможности ваша поганая власть не давала. Есть вам что сказать в свою защиту?

– Сука, – прохрипел старший лейтенант, попробовал выдернуть руки из-под санинских подметок и взвыл от боли.

– То, что вы – сука, суду известно и основанием для облегчения участи не является. Иван Афанасьевич Щуп, вы приговариваетесь к тому же, на что обрекали других. К перелому хребтины и последующему параличу.

Самурай размотал свой сверток. Внутри был короткий ломик. Размахнулся и раз, другой, третий ударил в середину спины. Звук был тошнотворный. Щуп заклокотал горлом, обмяк.

– Живи подольше, тварь, – сказал Самурай, плюнув на неподвижное тело. – Будешь гнить – никто твоей грязи не вычистит. Всё, идем отсюда.

Лом зашвырнул в канаву со стоялой водой.

– Надо было с собой взять. Вдруг найдут? Хоть бы отпечатки стер, – встревоженно оглянулся Санин.

– Ничего они не найдут. Особо и искать не станут. Кому он нужен, пьянь, ради него корячиться. Может, для порядка поищут среди тех, кого Щуп этапировал, но это тысячи людей, и нас среди них не было. Нас с тобой никогда не найдут. Гениальность моего плана в том, что никто из приговоренных ни с тобой, ни со мной не пересекался. Конечно, после нескольких таких акций разнесется слух о мстителях. Многие, очень многие наложат в штаны и станут озираться по сторонам. Это тоже возмездие – пусть трясутся, гниды. А мы останемся невидимые, бесплотные, неуловимые и потому о-очень страшные. Красота!

Прокартавил по-ленински:

– Осуществляются вековые мечты угнетенного п'олета'иата, това'ищи! Весь ми' насилья мы 'аз'ушим, кто был ничем, тот станет всем!

Кремлевская звезда

Перед входом в продмаг громко вещало радио. Звонкий голос декламировал «Стихи о Родине».

Моя страна, страна свободная –
Деревни, села, города –
Пускай сияет путеводная
Тебе кремлевская звезда!

До войны репродукторы были повсюду, даже просто на фонарных столбах, и непременно работали на полную мощность. Теперь у всех дома имелись собственные радиоточки, и старые «колокольчики» остались только в заштатных магазинах вроде этого, где Тина обычно покупала провизию.

Но сегодня день был неудачный – хвост выходил на улицу, внутрь не войдешь. Судя по разговорам, давали навагу. Люди волновались, хватит им или нет.

Тина посмотрела на пыльную витрину – там лежали пластмассовые колбасы и окорока. Сказала себе: ничего, можно сходить в овощной, купить капусты, моркови, если повезет кабачок или баклажаны, и сделать рататуй по тетиному рецепту.

Пошла в соседний Языковский переулок, но в «Овощи-фрукты» очередь была вообще безумная. К октябрьским выкинули мандарины, давали по два кило в руки. Вышла довольная женщина с полной авоськой – будто поймала в сетку оранжевое солнце, подумала Тина. Смотреть на яркое пятно среди серого, коричневого и черного было приятно.

Ничего не поделаешь, придется тащиться на Плющиху. Может, в кулинарии повезет что-нибудь купить.

Она пошла вдоль плотно сбившихся людей и в самом конце очереди увидела Антона Марковича Клобукова. Верней сначала обратила внимание на берет – все остальные были в кепках и платках. Вид у медицинского академика был нерешительный.

Тина не удивилась – они же соседи, но почему-то очень обрадовалась. Ну то есть понятно почему. Вспомнила, что в мире есть не только очереди, но и Клод Моне с Ренуаром.

– Здравствуйте! Вы меня помните?

Посмотрел так, будто не очень – с некоторым замешательством. Ответил не сразу:

– Да-да, конечно. Вы Юстина. Тоже живете в Пуговишникове.

– Вы в каком доме?

– В двадцать шестом, на самом верху, в мансарде.

– Так это у вас по ночам светится окно? – поразилась Тина. – Я часто на него смотрю, я прямо напротив вас, только пониже.

– Вот, не могу решиться, стоять или нет, – вздохнул Антон Маркович. – Ненавижу «хвосты». Но моя дочь так любит мандарины. Однако ведь это минимум часа на полтора. Наверное, пойду.

– А я ела мандарины всего один раз, еще до войны, – сказала Тина. – Папа принес на новый год. Раньше я мандарины только на картинке видела. Их только-только начали выращивать, в Грузии. Помню, папа сказал: «Господи, подумать только! Это ведь наступает 1940-й, а не 1890-ый!». А потом засмеялся и говорит: «Я точь-в-точь моя бабушка. Вдруг вспомнил, как она охнула: «Ах, Аврелий, ведь это уже тысяча восемьсот девяностый год, а не тысяча восемьсот сороковой!»».

У Антона Марковича сделалось странное выражение лица.

Увидев епифьевскую протезе, кажется, собиравшуюся пристроиться к очереди, Клобуков окончательно решил, что стоять за мандаринами не будет. Сейчас скажет что-нибудь вежливое и уйдет.

Но то, что ее отца звали Аврелием, Антона Марковича потрясло. То же редкое имя носил его дед-декабрист. Мысль об эстафете времен, о мостике живых воспоминаний, перекинутых из девятьсот сорокового в восемьсот девяностый, а оттуда в восемьсот сороковой тоже была близкая, он и сам часто об этом думал. Аврелий Клобуков в тысяча восемьсот сороковом году вышел из каторги на поселение. Считал свою жизнь разбитой и оконченной, не знал, что через пятнадцать лет обзаведется семьей и будет счастлив.

Уходить расхотелось. Смотреть на раскрасневшееся лицо молодой женщины – некрасивое, но очень милое – было приятно.

В чем она, собственно, передо мной провинилась? – сказал себе Антон Маркович. Об интригах Пифии она даже не догадывается. Встретились шапочные знакомые, разговорились – обычная светская ситуация. Надо быть приветливым и вежливым, только и всего.

– А вы знаете, что до революции на этом самом месте тоже продавали фрукты? – оживленно говорила Юстина, не подозревая о его колебаниях. – Здесь была колониальная лавка. Ее владелец, мещанин Мордко Янкелев, ездил в Аргентину, работал там на серебряных копиях, накопил денег и вернулся в Россию в тысяча девятьсот тринадцатом году, аккурат к мировой войне, революции и военному коммунизму. Наверное, когда надрывался в руднике, мечтал, как славно заживет, владея собственной лавкой. Бедняга!

– Где вы всё это выяснили? – спросил Клобуков, улыбаясь.

– В архиве. Чтобы понимать место, нужно всё про него знать. Я и фотографии нашла. В начале века здесь было почти так же. Грязь, лужи. Вашего дома, правда, еще не было.

– А зачем вам понадобилось понять это место?

– Ну как, ведь я тут живу. Как же не узнать, что здесь было раньше?

Она смутилась, словно не зная, продолжать или нет.

– Понимаете, я немного по-странному вижу и чувствую пространство. Конечно, не все места, а некоторые. Особенные. Место, где живешь, конечно, всегда особенное. Но у меня часто бывает, что идешь, и воздух вдруг будто сжимается и раздается такой тихий звон... нет, не звон, не знаю как сказать. Специальный звук. И я чувствую, я знаю: здесь что-то произошло. Что-то очень печальное или наоборот очень счастливое. Раньше я была уверена, что сама себе это выдумываю, но много раз убеждалась: так и есть. Понятно, если звук раздается в каком-то исторически знаменитом месте. В детстве на Дворцовой площади, на Сенатской, на Невском у меня прямо в ушах звенело от всего, что там когда-то происходило...

– Вы тоже питерская? – опять поразился Клобуков.

– Ленинградская, – поправила Тина.

Антон Маркович с облегчением сказал себе: не выдумывай, нет между вами никакой внутренней связи, это другое поколение, она обычная советская девушка. Но Тина пояснила:

– Мою маму звали Леной, поэтому для меня с детства Питер был «Ленин град».

Нарушившаяся было связь восстановилась, и – вот ведь удивительно – Клобуков опять испытал облечение. Даже радость.

Тина не догадывалась о перепадах в настроении слушателя, ей очень нравилось, что этот солидный, умный, наверняка привыкший к более содержательным собеседникам человек так к ней внимателен. Хотелось, чтобы интерес в его глазах не погас.

– Я, например, не могу находиться в церкви – начинаю задыхаться. Одна старушка сказала: «Эк тебя бес-то корчит». А я просто чувствую, как на меня наваливается груз молитв, надежд, отпеваний, венчаний – невероятная концентрация сильных переживаний, и я делаюсь прямо больная. В некоторые места меня неудержимо тянет, другие я обхожу стороной. Ни с того ни с сего появляется желание перейти на другую сторону улицы. Как я разволновалась, когда открыли доступ в Кремль! Ведь это поразительное место – в мире таких мало. Я про Кремль столько всего знаю! Когда-нибудь обязательно схожу. Когда очереди схлынут. У меня на них идиосинкразия.

«Что ты всё интересничаешь, стрекочешь, как сорока, – одернула себя Тина. – Уймись, Белицына!». И замолчала.

Таких лиц больше не бывает, думал Клобуков. Только на старых фотографиях. Феноменальное сочетание живости и глубины. Какая-то природная аномалия. Марианская впадина. Жениховство и ухаживание, конечно, чушь, но почему не поддерживать знакомство? Общение с приятными людьми – одна из радостей бытия. Даже отшельник Шопенгауэр каждый день специально ходил в ресторан, чтобы не сидеть сычом и иметь собеседников.

– Послушайте, а не проявить ли нам мужество? – весело сказал он. – Вы ненавидите очереди, я тоже, но минус на минус дает плюс. Опять же мандарины. За нами, видите, уже двадцать человек встало. Не отдадим им наши четыре кило. Предлагаю абстрагироваться от окружающей действительности. Представьте, что мы в гостинной, ведем тейбл-ток.

– Если вдвоем, тогда другое дело, – сразу согласилась Тина. – Но я слишком много болтаю. У моей тети есть книжка, по которой она когда-то дрессировала своих гимназисток. Называется «Искусство светского

общения». Там написано: «Дама, а паче того барышня никогда не берет на себя инициативу беседы, предпочитая благосклонно и заинтересованно внимать речам мужчины». Давайте я лучше буду благосклонно и заинтересованно внимать.

– Я знаю, чем мне вызвать вашу заинтересованность и благосклонность. – Антон Маркович изобразил таинственную улыбку. – Я, конечно, не волшебник вроде Марии Кондратьевны, но ваше заветное желание исполнить смогу. Входной билет в Кремль вам добуду.

– Правда?!

– Существует так называемый «академический лимит», которым я никогда не пользуюсь. По нему можно получать билеты в театры и на концерты. Думаю, что и Кремль не проблема. Я выясню, хорошо?

– Ой, я буду вам ужасно признательна!

Как она хорошеет, когда радуется, подумал Клобуков. Надо радовать ее почаще.

И вдруг сказал – неожиданно для самого себя:

– Я бы, честно говоря, и сам сходил в Кремль. Был там один раз в детстве, когда приезжал с родителями в Москву. Но запомнил только колокол и пушку. Думаю, я смогу даже организовать нам индивидуальную экскурсию с гидом, и он будет лучше, чем незабвенная товарищ Скрынник.

– Не надо гида! – воскликнула Тина. – Я сама могу вам всё рассказать про Кремль! Ах, как это было бы здорово!

* * *

По улице Куйбышева тянулся длинный-предлинный, на сотни метров, хвост ко входу в Государственный Универсальный Магазин, главное торговое учреждение страны. Очередь была нестоличная – это сразу бросалось в глаза. Стояла провинциальная, неближняя Россия. Ватники, сапоги, старые шинели, мешки, брезентовые сумки и совсем, совсем не московские лица – обветренные, землистые, угрюмые. Очередь образовалась еще на рассвете, когда со всех вокзалов потянулись ночевавшие там люди. Двери открылись час назад, в восемь, но огромный универмаг, по-дореволюционному «эмпориум»

пока всосал только половину. Милиция запускала покупателей группами, чтобы внутри не началась давка.

Разговоры в толпе были деловитые: что выкинули к праздникам, да на какой линии какой товар.

Две женщины, судя по говору приехавшие откуда-то с севера, распределяли между собой, куда пойдут.

– Ты, Нинка, давай в ткани, – распорядилась та, что постарше. – Перво-наперво про тюль выясни. Если есть – стой намертво. Я в продуктовый, пока всё не разобрали. В прошлый раз сома оторвала – вот такого.

Она расставила руки, показывая размер сома, и задела проходившего мимо мужчину. Тот, на секунду полуобернувшись (блеснули очки), обронил «извините» и пошел дальше, занятый разговором со спутницей.

Разозлившись на «извините» – нормальные люди, когда их пихнут, такое не говорят – тетка крикнула вслед:

– Глаза разуй! Прётся, как трактор!

Но московский шпынь, в войлочном блине на седоватой башке, не повернулся. Он внимательно слушал невысокую коротконогую фрю в кудряшках, которая что-то ему втолковывала.

* * *

– ...Раз мы так рано приехали, я хочу показать место, где у меня, когда я впервые проходила мимо, прямо мурашки по коже пошли. И непонятно почему. Даже на Красной площади, где головы рубили, такого не было. Вон, впереди, видите? Там же вообще ничего нет. Просто перекресток. Я стала читать книги. И в конце концов вычислила. Во всяком случае появилось предположение. В восемнадцатом веке здесь, у Варварских ворот, стояла часовня, в которой хранилась высокочтимая копия Боголюбской иконы. В 1771 году, когда москвичи целыми улицами вымирали от чумы и весь город был парализован ужасом, пронесся слух, что этот образ спасает от «моровой язвы». Тысячи людей день и ночь стояли в очереди – вроде вот этой, к ГУМу – чтобы приложиться к лику губами. Естественно, заражались и расходились по домам умирать. Потом, когда власти

попробовали убрать источник заразы, разразился мятеж, толпа разорвала на части архиепископа, город погрузился в хаос. Я думаю, что мой внутренний, непонятно как устроенный резонатор среагировал на некий сгусток сконцентрировавшейся здесь энергии, которая никуда не делась. Химическое соединение отчаянной надежды и притаившейся смерти. Что-то такое в атмосфере осталось. Вы не чувствуете?

Пожилой мужчина старательно втянул носом воздух.

– Честно говоря, нет. Четверть десятого уже. Идемте к Кутафьей башне. У нас входной на девять тридцать.

Они свернули в Большой Черкасский переулок.

– Каков план экскурсии?

– Не будем пытаться объять необъятное, – ответила она. – Вы любезно согласились пойти туда, где мне больше всего хочется побывать.

– Да-да. Ведите.

– Ограничимся двумя местами. Они наверняка сильно заряжены эмоционально, это очень отнимает силы. Сначала давайте попробуем определить, где находился «терем на взрубке» – дворец, который построил для себя первый Лжедмитрий.

– Почему вас интересует именно Лжедмитрий?

– Ну что вы, это самый интригующий персонаж отечественной истории! И дело не в тайне его происхождения. На самом деле он вряд ли был Григорием Отрепьевым, но поразительно другое. Это был совершенно исключительный для своей эпохи человек! Он пытался править милосердно, он запретил доносы, он хотел превратить Московию в просвещенную державу. И народ его очень любил. Вы знаете, что заговорщики повели толпу в Кремль якобы защитить царя от убийц? Вот как Дмитрий был популярен у москвичей. Пленника поспешили изрубить на куски, чтобы простой люд его не освободил. Правда, потом те же самые москвичи глумились над несчастным, обезображенным телом... В детстве это расстраивало меня до слез. Я не могла понять, как можно издеваться над тем, кого вчера еще обожал.

– Я такого много повидал на двух войнах. За века в России изменились только сословия, обладавшие привилегией мало-мальски достойной жизни. Народная масса существовала, да и продолжает существовать в диких условиях, которые пригибают человека к земле,

заставляют руководствоваться низменными инстинктами. А какое второе место мы посетим?

– Сенатскую площадь, где Каляев взорвал Сергея Александровича. У великого князя была такая красивая, такая благородная внешность! В детстве я была в него влюблена – у нас дома хранились подшивки старых журналов. Но и Каляев, кажется, был тоже человек благородной, красивой души. Вы ведь знаете, что в первый раз он не стал бросать бомбу в карету, потому что великий князь ехал с семьей? Я всё думала – какая же это трагедия, когда один красивый человек бросает адскую машину в другого красивого человека, и тому взрывом отрывает голову... Может быть, там, на месте, я почувствую и пойму что-то важное.

– Бедная Россия. Всё в ней разрывают на части, рубят на куски и отрывают головы. А куда мы пойдем потом?

– В Оружейную палату. Там никаких потрясений я не жду, – улыбнулась любительница истории. – Посмотрим на главные сокровища России.

– Главное сокровище России – это вы, Юстина Аврельевна, – сказал ее спутник тоном не галантным, а академическим, будто констатируя научный факт.

Для души

Хаза в Сокольниках была всем хороша, только больно уж шалманистый район. Рожи вокруг, как в Россошинском леспромхозе, где Санин кантовался последние месяцы перед освобождением – там контингент в основном состоял из общережимных уголовников. Здешние, мелькомбинатовские, тоже не ходили, а шныряли, не смотрели, а зыркали, руки по-воровски прятали в карманы, будто готовые чуть что высунуть нож.

С одной стороны, это было отлично, мусора сюда предпочитали не соваться. С другой – какая-нибудь шпана влегкую могла влезть и устроить шмон. А они двое целыми днями отсутствуют, и хабар, сто тысяч, спрятан попросту, в печку, больше некуда.

Хотели отнести на вокзал в камеру хранения, но там нужен паспорт, а у них обоих пока только справки об освобождении, да с «минус шестнадцатью» – без права бывать в столицах шестнадцати союзных республик.

Вчера вечером, когда вернулись из Марьиной Рощи, Самурай снова об этом заговорил. Человека бы, мол, надежного, но где его взять?

Тут Санину и пришло в голову. Знаю, говорит, одного. Отец моего фронтового товарища, такой чеховский интеллигент, реликт, нипочем нос не сунет.

Сегодня был воскресный день, поехал наудачу, и повезло – застал Клобукова-старшего дома.

Тот, конечно, сразу согласился взять узелок на хранение. Санин сказал, там личные вещи, письма, память о прошлом. На всякий случай узелок был затянут шнурком. В лагере один бывший капитан дальнего плавания научил делать «мертвую петлю». Ее, если не знать секрет, распутать невозможно, только разрезать.

Санин уже прощался, когда в коридор вышла миниатюрная девушка с золотыми волосами до плеч и огромными сонными глазами. Кожа очень белая, почти молочная – у блондинок это редкость. Движения странные – замедленные, но плавные, грациозные. Будто идет в воде.

– Здравствуйте, – улыбнулся Санин. – Дочка ваша?

Девушка словно не услышала. Прошла мимо, не глядя, задела плечом и, кажется, этого не заметила.

– Ариадна – инвалид, – извиняющимся тоном объяснил Антон Маркович. – Она живет в собственном мире. Посторонних людей не видит, они для нее как бы не существуют.

– Завидую, – вздохнул Санин. И вдруг вспомнил: – Слушайте, я хотел спросить. Куда делись инвалиды? По всей стране их полным-полно, а в Москве не видно.

– В пятьдесят первом году вышло постановление. Закрытое, но медработников ознакомили, потому что оно отчасти касалось здравоохранения. Что-то такое про нищенство, антиобщественные паразитические элементы. После войны осталось, если я правильно запомнил цифры, почти полтора миллиона инвалидов с двойной ампутацией нижних конечностей и миллион сто тысяч – с двойной ампутацией верхних. Многие полностью безрукие и безногие живут нищенством. Особенно высока их концентрация в Москве, где выше уровень жизни и лучше снабжение. Обилие калек-попрошаек в военной форме с боевыми наградами на груди формирует превратное представление о советской жизни, чем пользуются в своих пропагандистских целях зарубежные корреспонденты. Что-то такое было в постановлении, за точность цитирования не ручаюсь. Начались уличные облавы. Многих вывезли в Ногинск и еще куда-то, в специализированные интернаты. Остальные уехали или попрятались. Ужасная история.

– На свободе что, – пожал плечами Санин. – Видели бы вы, каково калекам приходилось в лагерях.

Клобуков вдруг ни с того ни с сего разволновался, даже голос задрожал:

– Старым, нездоровым людям, наверное, тоже было очень тяжело?

– Как у нас шутили, «тяжело, зато недолго». Кто дряхлый и больной, как правило, не заживались.

У Антона Марковича голос стал скрипучим:

– А мог в лагере выжить физически слабый шестидесятилетний интеллигент, не от мира сего, арестованный в тридцать седьмом?

– По 58-ой? Исключено. Восемнадцать лет мало кто из молодых и сильных продержался бы. Если, конечно, ваш интеллигент не «закумовал».

– Что?

– Если не пристроился работать на «кума». Стучать на других эков. Тогда, конечно, ему могли создать условия.

– Нет-нет, невозможно.

– Ну тогда разве что чудом. Вы почему спрашиваете? Хотите выяснить, жив ли кто-то из ваших друзей или родственников? Запрос сделать не пробовали? Сейчас отвечают.

– Это... старинный друг моего отца, – болезненно морщась сказал Клобуков. – Запрос делать не нужно. Иннокентия Ивановича уже освободили, он пока поселился в Коломне, за 101 километром, ходатайствует о реабилитации.

– Коломна – не дальний свет. Съездите к нему.

– Уже ездил, дважды. В первый раз не застал, написал письмо. Ответа не получил. Поехал во второй раз, вообще никого не было. И теперь я беспокоюсь. Семьдесят восемь лет ему, а здоровья он и до ареста был неважного...

– Вы ведь академик.

– Член-корреспондент.

– Для коломенской милиции это звучит еще солиднее, чем просто «академик». Съездите к тамошнему начальнику, объясните ситуацию. А еще лучше напишите со всеми регалиями. Попросите выяснить, что с вашим знакомым. Мусор... в смысле милиционер в лепешку расшибется ради важного столичного человека. У нас, Антон Маркович, только так всё и работает.

– Спасибо за хороший совет, – просветлел Клобуков. – Я еще лучше сделаю. Если уж пользоваться личными связями. Мой старый знакомый работает в одной из реабилитационных комиссий, я как раз устраиваю медицинскую консультацию для его супруги.

– Вот-вот, – одобрил Санин. – Самое оно. Пусть ваш знакомый позвонит в коломенскую ментуру.

– Прямо сейчас к Бляхину и съезжу. Он просил меня по телефону о таких вещах не говорить. Привычка к осторожности, по прежней работе.

– А где он работал?

– В органах.

– Хвататель? – брезгливо покривился Санин. Он не ожидал, что у академика могут быть такие приятели.

– Зря вы так. Филипп Панкратович в тридцать седьмом году сам ушел с Лубянки, из принципиальных соображений. И потом служил... я точно не знаю где. Во время войны он был, мне сын написал, в штабе Первого Украинского. Они встречались в Оппельне.

– Где? – вздрогнул Санин.

– Это город в Силезии. Рэм останавливался там по пути на фронт. Филипп Панкратович занимался какой-то фильтрацией. Не знаю, что это значит. Проверкой пленных, освобожденных в немецких лагерях, кажется.

Санин на миг зажмурился.

Отчетливо, будто въявь, увидел коридор, по которому его, плюющего кровью, волокут из допросной. Кожаную дверь. Табличку: «Подполковник Ф.П.Бляхин».

– Что с вами?

– ...Ничего. Знаете, мне все равно сейчас делать нечего. Давайте я вас провожу, расскажу, как жилось в лагере. Встретитесь с вашим другом – пригодится. Вы в какую сторону?

– На Кировскую.

– Ну, это мне вообще по дороге.

Потом поехал проведать Самурая. Тот торчал на «НП», во дворе дома 16, под детской горкой. Нахохленный, замотанный в шарф, в шапке с опущенными ушами. Было не шибко холодно, но доходяга всегда мерз.

– Ну что? – спросил Санин.

– Всё то же, ..., – матерно выругался напарник. – Как у него, кобеля, только здоровья хватает.

По жребию следующим «сталинским лауреатом» (термин, придуманный Самураем) оказался Игнат Иванович Лесных, в конце тридцатых лютовавший в Лефортове. Проведенная разведка установила, что он давно демобилизовался, теперь работает начальником отдела кадров на киностудии.

В отличие от спившегося Щупа, у Лесных всё в жизни было отлично и даже блестяще. Одевался он франтом, разъезжал на то ли личной, то ли казенной «победе» и жил в красивом новом доме министерства культуры.

Сначала казалось, что дело плевое. «Лауреат» обитал в отдельной квартире один. Позвонить вечером – как те когда-то звонили: «Вам телеграмма». Санин вырубит, свяжет, сунет в рот кляп. Самурай исполнит приговор. Приготовили два матерчатых колпака с дырками для глаз, стали во дворе ждать, когда осужденный вернется домой. И началась морока хуже, чем в Лобне.

Выяснилось, что скотина Лесных активно пользуется служебным положением. На киностудии, вероятно, было много красивых женщин, заинтересованных в хороших отношениях с кадровиком. Каждый вечер хренов ромео привозил домой очередную бабу, одна фактурней другой. И оставались они до утра. За время наблюдения в квартире побывали уже четыре любовницы. Ни единого раза любвеобильный жилец не ночевал в одиночестве.

Рано или поздно это все же должно было случиться. Поэтому условились так. Самурай с вечера выдвигался на «НП» и ждал. Санин, чтобы попусту не терять время, занимался разработкой следующего кандидата. Напарник для этого непростого дела не годился – был недостаточно ловок и быстро выбивался из сил.

– ...твою мать! – покрутил головой Шомберг. – Восемь дней псу под хвост. Зато я теперь точно решил, какое ему будет наказание. Думал ограничиться «яичницей» – как он, сука, делал. Но нет, этого ему мало. Я его вчистую выхолощу. Он у меня отскочет, жеребец. Пускай мерином побегает, останется без главного смысла жизни.

Как именно он собирается холостить Лесных, Самурай рассказывать не стал, а Санин не спросил. Он в «исполнители» не рвался. Его дело было – обездвигить клиента и приготовить.

– Ну а Ласкавый что? Не завяжем, как с этим? – спросил Самурай.

Санин вел разведку по бывшему начальнику матросского ШИЗО, ныне переброшенному на исправительные учреждения для несовершеннолетних.

– С ним полный порядок, – доложил Санин. – Сегодня он пил пиво с каким-то своим друганом, я у соседнего столика подслушивал. Егор Трифонович у нас охотник. Собирается в следующий выходной поехать под Шатуру, побродить там с ружьем. Насчет рябчиков интересуется.

– Один поедет?

– Да. Говорит, рябчик тишину любит.

Самурай оскалился.

– Вот мы с тобой на охотника и поохотимся. Подмосковная природа, лес, красота! Со следующей недели по ночам обещают заморозки. Он, гнида, людей нагишом в холодильник сажал? Ну так мы его в чем мать родила до утра на холодной земле подержим, только и всего. Если он везучий, отделается погробным радикулитом и попрощается с почками... Ладно, идем отсюда. Сегодня тоже не обломилось.

По дороге – в трамвае, потом в автобусе – Самурай расписывал, как организует Ласкавому незабываемую ночевку на пленэре. Санин отмалчивался. В конце концов напарник спросил:

– Э, Санитар, ты чего такой задумчивый?

– Да тут вот какая штука...

Рассказал, как по чистой случайности вышел на след начальника ОФПЛ, фронтового Отдела фильтрационно-проверочных лагерей, где бывшему пленному во второй раз сломали жизнь. И про то, что установил адрес этого Бляхина – довел академика до самого подъезда.

– Там, в Оппельне, в хозяйстве Бляхина, мне сызнова зубы вышибли. Весь немецкий плен у меня протез продержался, а у своих борзой лейтенантишка палкой наотмашь вмазал... Главное, я идиот, так радовался, когда к нам в шталаг танк с красными звездами въехал, колочку снес... И все наши, кто до сорок пятого года дожил, орали, руками размахивали... Прямоком оттуда нас на фильтровку и погнали. Как баранов. Я что, мне считай повезло. Поплатился только вставными зубами и тихо-мирно отправился на фронт. А сколько наших сразу из немецкого лагеря в советский поехало. У меня хоть месяц передышки вышел.

– И что, Бляхин этот, сам, лично, людей мордовал? – нахмурился Самурай.

– Не знаю. Я его там ни разу не видел. Только фамилию знаю. Какая разница – сам, не сам. Порядки-то он завел... Был у меня в шталагере товарищ, Беглов Миша, золотой мужик. Я бы без него не выжил. Вместе из плена освободились, вместе загремели в Оппельн. Так ему тот же лейтенант, гадина, своей палкой голову отшиб. Слеп Мишка от удара, нерв ему какой-то повредило. И все равно потом в изменники определили, чтоб не отвечать. Бляхин свою подпись ставил.

– Понима-аю, к чему ты ведешь, – протянул Шомберг. – Мы, конечно, с тобой твердо решили, что личных счетов сводить не будем.

Опять же никакой ниточки к нам потянуться не должно... Но человек не может жить только долгом и рассудком. Надо что-то делать и для души. Ох, дорого я бы дал, чтоб пообщаться с сучарой, которая меня в тридцать шестом запустила в конвейер. В общем так. Берем твоего Бляхина в работу. Вне плана, в порядке культурного досуга. По правилам полагается минимум два свидетеля, но мы вторым засчитаем твоего Мишу Беглова. Что с ним потом стало, не знаешь?

– Говорили, умер на этапе.

– Тем более. Я для товарища Бляхина, раз он не чужой тебе человечек, что-нибудь особенное придумаю. Гляди бодрей, Санитар. Радуйся жизни, настало наше время. «Рады, рады, рады светлые березы, и на них от радости расцветают розы».

«Жизель»

В этом году праздники получились длинные – шестого ноября воскресенье, седьмого и восьмого выходные, пятого работали только до обеденного. Ну то есть как – работали? Отсидели торжественное собрание, не такое длинное, как в прошлые годы – и сразу разошлись по отделам, где уже были накрыты столы.

Памятью добрый совет Зиночки Ковалевой, Клобуков на сей раз не стал изображать из себя старообрядца – остался с коллегами, чокался с ними разведенным спиртом, улыбался анекдотам и даже шутил сам. Кажется, у него получалось не очень, но сотрудники обрадованно смеялись. Мудрая Зинаида Петровна была права. «Сокращение дистанции» явно изменило атмосферу в коллективе к лучшему.

А может, дело было в том, что изменился сам Антон Маркович. В последние дни он чувствовал себя так, словно... Обычный человек, наверное, сказал бы «словно вдруг помолодел на двадцать лет», но профессия подсказала более точную по ощущениям метафору: словно после визита к стоматологу отходит новокаиновая блокада – к лицевым мышцам возвращается способность улыбаться, одеревеневшие губы снова чувствуют тепло и холод, пища обретает вкус. Невероятные вещи происходили с членом-корреспондентом АМН СССР Клобуковым, он сам себя удивлял.

Разошедшаяся молодежь вытащила из шкафа с пробирками патефон, о существовании которого заведующий и не догадывался. Поставили пластинку с Лолитой Торрес. День был хмурый, сумеречный, но свет включать не стали.

Антон Маркович улыбался, глядя на танцующие в полумраке пары, голова немного кружилась, мысли были рассеянные, но приятные.

– Вставайте, вставайте, – наклонившись к нему, шепнула Зиночка. – Раз вы сегодня такой отчаянный, не останавливайтесь на полпути. Потанцуем!

И чуть не силой взяла за руки, подняла. Не вырваться же?

Старшая медсестра порядком захмелела, и это ей шло. Глаза сияли, зубы влажно блестели.

– Да я не умею.

– Я вас научу. Сейчас немножко потренируемся у вас, а потом всех поразим.

Она решительно повела его в кабинет, оставив дверь открытой, чтобы было слышно музыку.

– Левую мне на спину. Крепче, кабальеро! Правую – нет, не на плечо, так только пенсионеры делают. Берите меня за бок. Выше, выше! Вот так, смелей.

Она взяла его кисть и прижала к своей груди. Ладонь ощутила тугую полноту. Мягкие, горячие губы стали быстро целовать его щеку, прижались ко рту. Зиночка тихонько постанывала.

От неожиданности, от потрясения Антон Маркович повел себя грубо – отпрянул от нее, да еще толкнул.

– Зина, что вы делаете? Вы слишком много выпили.

Прозвучало это по-идиотски. Что она делает, было понятно, а морализаторство в такой ситуации могло только оскорбить.

Ковалева и оскорбилась.

– Что, был мужчина да весь вышел? – задыхаясь от обиды, выкрикнула она. – Или никогда и не был? Только и хватило мужской силы произвести на свет дочь-инвалидку?

– Ах, Зинаида Петровна, ну в самом деле... – жалко пролепетал Клобуков, махнул рукой и вышел.

Попрощаться с сотрудниками в таком состоянии он не мог, повернул к выходу.

Ковалева догнала его в коридоре.

– Антон Маркович, ради бога! – Голос срывался. – Прошу вас! Пожалуйста!

Он обернулся. Ее лицо было мокрым от слез.

– Простите меня, простите! Это я от обиды, от злости. Я же всё знаю. И про сына. И про вашу супругу... Я совсем не умею пить... И я вас очень... Нет, я не про это хочу сказать. Я сразу после праздников увольюсь. Мне будет стыдно на вас смотреть. Вы меня больше не увидите, честное слово. Только не уходите так. Простите меня. Пожалуйста!

– Что вы, Зиночка, – сказал Клобуков. – Мне вас прощать не за что. Это вы меня простите. Вы абсолютно правы, время любви – *этой* любви – для меня закончилось. Я слишком стар для такой женщины, как вы... Для любой женщины, – решительно добавил он. – И это

нормально, это естественно. Каждому возрасту свое. Не вздумайте увольняться. Мне вас никто никогда не заменит. У нас с вами всё будет хорошо.

Ковалева разревелась пуще прежнего, но уже без надрыва, а через минуту-другую почти совсем успокоилась. Попрощались они сердечно, за руку.

Однако происшествие повергло Клобукова в совершенное смятение. Не из-за отношений с Зиной – они теперь, наверное, станут только лучше, исчезнет подспудная нервная напряженность, которую он по своей толстокожести предпочитал не замечать. Нет, дело в другом.

Пора было дать себе отчет, честный и безжалостный, в том, что с ним, шестидесятилетним болваном, в последнее время творится.

Что ты расхаживаешь по улицам с идиотской улыбкой и просыпаешься утром в ощущении праздника, старый ты дурень? Работа над «Аристомией» отставлена, вместо нее затеяна новая штудия, нелепая по теме и комичная по содержанию. Третьего дня вдруг отодвинул недописанную главу про зависть к Шопенгауэру, взял страницу и застрочил, будто под диктовку: «Ситуация, в которой я сейчас оказался, не только выбила меня из наезженной и по-своему комфортной жизненной колеи, но и вызвала потребность частично пересмотреть систему взглядов, изложенную в предыдущих разделах». Ты вправду собрался исследовать природу любви, теоретик жизни? В возрасте, когда, как говорится, уже пора подбирать участок посуше?

Ощущение праздника у него! Вот на что это похоже: человек открывает сонные глаза – ах, как тепло и ярко вокруг! А это у него в доме пожар. Сейчас рухнет крыша.

На самом деле всё ужасно. Хуже не бывает.

Зинаида Петровна – чепуха и глупости, но как быть с тем, что случилось позавчера вечером? Когда вы с Юстиной прощались у подъезда и она сказала: «Ой, Антон Маркович, у вас пальто испачкалось... Нет, дайте лучше я». Потерла плечо, потом вдруг подняла глаза, и в них было то, в чем ошибиться невозможно, и повисла пауза, и ты внутренне онемел. Ничего не было сказано вслух, просто она улыбнулась, и ты улыбнулся. Как ты мог, как ты посмел ей *так* улыбнуться? Она молодая, полная сил женщина, которая имеет право на полноценную любовь, а не на чахлые потуги твоих иссыхающих

вожделений. С Юстины какой спрос? При отсутствии жизненного опыта легко спутать личностную близость с любовным влечением, но ты-то, ты!

Антон Маркович тряхнул головой и перестал угрызаться. Потому что принял решение. Единственно правильное и достойное.

Точно так же, как он только что поговорил с Зиной – спокойно, взросло, умно – нужно объясниться с Юстиной. Скорректировать установившиеся между ними отношения, драгоценные для обоих, чтобы они не повернули по вектору, который неминуемо всё испортит. В первую минуту будет неловко, но Юстина – человек чуткий и тонкий. Она поймет правильно. И всё выправится. Тучка не разразится грозой.

Нужно только провести беседу без нарочитости и нажима, без драматизма, а естественно. В правильном антураже и подходящем настроении.

Все выходные Антон Маркович думал про это, чем дальше тем больше уверяясь в разумности подобного шага. В первый же рабочий день, в среду, зашел к секретарше директора Зое Филипповне, ведавшей всеми академическими благами, от путевок до гостиничной и проездной брони. Это она организовала ему посещение Кремля. Попросил у опытной дамы совета – на какое бы культурное мероприятие сводить знакомого?

– Становитесь похожи на нормального человека, – одобрила матрона. – Этак вы у меня и в санатории начнете ездить. В Цхалтубо есть путевки для членкоров, в Дубулты, в Гагру. Воспользовались бы хоть раз.

– У меня же дочь. Как я ее оставлю? Вот вечером, на что-нибудь вроде концерта в консерватории или филармонии...

– Консерватория-филармония не мой калибр, – пренебрежительно махнула алыми ногтями секретарша. – Билеты в кассе. Давайте я вам устрою что-нибудь особенное, чтобы вы порадовали вашего знакомого... Или знакомую?

Посмотрела лукаво. В последнее время она стала к Антону Марковичу очень милостива. Наверное, прослышала, что директор прочит его в замы.

Клобуков промолчал.

– Ага, это дама, – догадалась Зоя Филипповна. – Тогда загляну в мой «золотой фонд». А кстати, хотите запишу вас на телевизионный

приемник? В очередь для ответработников, она движется быстро. Тысяча сто рублей, у спекулянтов вдвое дороже. Говорят, с нового года трансляция передач будет увеличена до четырех часов в сутки. И еще есть лимит подписки на новый журнал, называется «Иностранная литература». Там все переводные новинки – Сартр, Фейхтвангер, Пабло Неруда... Та-ак, куда бы вас пристроить?

Она пошелестела в календаре страничками, исписанными какими-то цифрами и аббревиатурами.

– Вот, совершенно исключительное мероприятие. Творческая встреча Московского театра оперетты с рабочими Первого подшипникового завода имени Кагановича. Будут исполнять сцены из «Сильвы», «Трембиты» и «Вольного ветра». Директор завода – наш пациент. Вас и вашу спутницу посадят в первый ряд, на лучшие места.

– А что-нибудь... менее громкое?

– Есть послезавтра два билета на закрытие недели Французского кино в «Ударнике». Просмотр кинокартины «Большие маневры» и потом прием в узком кругу с участием съемочной группы: Жерар Филипп, Мишель Морган, Бригитта Бардо. Иван Харитонович собирался сам посетить, с супругой, но ему нужно ехать на операцию в Ленинград.

Во время сеанса, а особенно на приеме не поговоришь, подумал Клобуков.

– Еще что-нибудь?

– Завтра «Жизель» в Большом с Улановой. Ложа. Иван Харитонович велел забронировать и тоже из-за Ленинграда не попадает, у него вечерний поезд. Хотите?

Вот это то, что нужно, сказал себе Антон Маркович. История бесплотной, но оттого еще более сильной любви Жизели и Альберта.

– Спасибо. Идеально!

Тина попала в Большой театр впервые. Приобрести билеты в кассе невозможно, покупать у «жучка» при ее зарплате – немыслимо, а «доставать» она не умела. И вдруг – боже, «Жизель», в отдельной ложе, с Улановой! Жизнь окончательно превратилась в сказку, и связана эта волшебная метаморфоза была безусловно с Антоном Марковичем. Чудеса начались с первого же дня их знакомства, с незабываемой выставки, с чаек над Темзой.

Как это поразительно! Человек давно привык жить один, свыкся с мыслью, что так будет всегда, и даже убедил себя: оно и к лучшему, когда тебе никто не нужен и ты никому не нужна. Но внезапно встречаешь кого-то, поначалу совершенно чужого, прошла бы на улице мимо – не задержала бы взгляда, но случай свел вас, и мир стал из плоского, монохромного, обыкновенного трехмерным, многоцветным, праздничным. Да-да, праздничным, потому что общение с тем, кто тебя полностью понимает и с кем тебе всегда интересно, это из праздников праздник. Особенно если ничего подобного прежде не бывало, разве что в детстве, с папой и мамой. Но родители остались в «Ленином граде» и похоронены вместе с ним. Возврата в тот сияющий рай нет. Но, оказывается, свет гаснет не навсегда. Он может возродиться – нужно лишь, чтобы рядом появился кто-то его излучающий.

Боялась Тина лишь одного: что будет слишком докучать занятому человеку и надоест ему, он ее исчислит, взвесит и найдет чересчур легкой. Поэтому звонила исключительно по делу, если могла его придумать. А на улице сталкивалась как бы случайно. Зная, в какое время Антон Маркович обычно возвращается с работы, брала хозяйственную сумку и торчала у подъезда, будто только-только вышла за покупками. И прощалась всегда первая, чтобы не успеть ему наскучить.

Театр был фантастически прекрасен, постановка блистательна, великая танцовщица летала по сцене, презирая закон гравитации, но отдаться музыке и балету Тине мешала близость Клобукова. Они сидели в просторной ложе вдвоем, не сказать чтобы близко и Антон Маркович чуть сзади, поэтому ей все время казалось, что он на нее смотрит (вот дура!) и хотелось обернуться, тоже на него посмотреть. Так и сидела – лицом к сцене, а глаза скошены.

В антракте он пригласил ее в буфет.

– Давайте лучше останемся, – сказала Тина. – Здесь так чудесно, а там будет толпа.

Антон Маркович несколько раз моргнул, поправил очки.

Полчаса антракта – более чем достаточно для такого разговора, подумал Клобуков. Не слишком коротко, но и не слишком длинно, а главное не будет проблемы с концовкой. Заиграет музыка, мы замолчим, у нее будет время обдумать услышанное, а у меня – успокоиться.

– Юстиночка, я хочу с вами поговорить на важную тему. Для меня важную. Вы умная, тонко чувствующая, и, конечно, догадываетесь, что я очень привязался к вам...

«Без экивоков», одернул он себя и поправился:

– ...Что я полюбил вас.

Брови у нее взметнулись, глаза расширились. Хороший это признак или плохой, Клобуков не понял и заговорил быстрее, чтоб она не успела ничего сказать.

– Вы не думайте, я не в том смысле. То есть, в том – я люблю вас и люблю сильно, но не как мужчина, добивающийся...

Хоть он и приготовил речь заранее, но все равно сбился. То, что казалось нормальным, когда он формулировал мысленно, невозможно было проговорить под взглядом этих удивленных (или шокированных?) глаз.

– Я не собираюсь за вами ухаживать, при нашей разнице в возрасте это было бы смешно и неприлично. Упаси боже, не зову вас в жены.

Тут он вдруг спохватился, что это может ее обидеть. Женщины ведь, кажется, обижаются, когда их не находят в *этом смысле* привлекательными – даже если такой кавалер им совсем не нужен.

– Не потому, что нахожу вас непривлекательной, нет! Вы мне невероятно, несказанно нравитесь. Но... – Взяв в руки всё свое мужество, он продолжил решительным тоном. Во второй раз, после объяснения с Ковалевой, проговорить это было легче. – Я стар. Я физически неспособен быть настоящим мужем. Вы обязательно найдете себе того, кто сможет вас любить, как вы того заслуживаете. Я же буду счастлив быть просто вашим добрым другом. Если мы сможем с вами видеться, разговаривать, бывать вместе – чем чаще, тем лучше, а потом расходиться по домам, мне этого будет более чем достаточно.

– А мне нет, – перебила его Юстина, уже несколько раз открывавшая рот, но снова закрывавшая его, потому что Клобуков начинал махать рукой.

– Что? – растерянно переспросил он.

– Вы со мной откровенны, и я тоже с вами буду откровенна. – На ее щеках выступили пятна. – Я хочу с вами быть предельно честной. Не иметь от вас никаких секретов. Я вас люблю еще больше, чем вы меня. Потому что у вас какая-то другая, важная жизнь, а у меня только вы и все мысли только про вас. Я хочу быть с вами все время. Я не хочу

расходиться по домам. А то, про что вы говорили... – Она запнулась. – ...Это счастье. Мне ничего этого, в смысле *того* не нужно. Я твердо решила, что никогда не выйду замуж, даже если встречу мужчину, который мне очень понравится. Потому что не хочу его разочаровывать, а делать эти вещи... ну, вы понимаете, о чем я... Это мне невыносимо. От одной мысли, что кто-то будет меня... трогать, меня передергивает.

У Тины выступили слезы от напряжения, которого ей стоили эти слова.

– Господи, я так невообразимо счастлив... Мы действительно можем быть... жить вместе и не расставаться? – пролепетал Антон Маркович, который сейчас не казался ей старым или солидным – пожалуй, она чувствовала себя уверенней и, как ни странно, взрослее. Он совсем растерялся, он нуждался в ее помощи.

– Это называется «белый брак», – сказала Тина, шмыгнув носом. Отвлекаться на то, чтобы искать в сумочке платок, сейчас было нельзя. – Я читала, что Бернард Шоу жил так со своей женой, из принципиальных изображений. Они хотели, чтобы их союз был сугубо духовным. Все об этом знали, и ничего. А мы с вами никому ничего объяснять не должны. Как захотим, так и будем жить.

– Правда? – спросил он прямо по-детски.

– Правда.

Она наклонилась к нему и поцеловала в щеку. Ну и что? Шоу тоже целовал жену и даже обнимал, есть такая фотография.

– Нам с вами такой брак и по фамилиям предписан, – улыбнулась Тина, потому что ей стало очень, очень хорошо. – Я – белица, вы – клубук. Союз двух духовных особ.

Было ужасно приятно, что эта шутка его чрезвычайно развеселила. Тина знала про себя, что с чувством юмора у нее так себе.

– А еще мы близкие родственники через Марка Аврелия, – подхватил Антон Маркович. – Получился бы инцест.

Они еще немного поговорили, уже безо всякой сбивчивости и неловкости, а потом начался второй акт. На деревенском кладбище закружились мертвые невесты.

Расстались в переулке, и каждый удалился в свой подъезд. Так, наверное, Бернард Шоу с женой, пожелав друг другу спокойной ночи, расходились по своим спальням.

Дома Антон Маркович прежде всего исполнил долг благодарности.

– Мария Кондратьевна, – сказал он в трубку, – я знаю, что уже поздно, но знаю я и то, что мой звонок вас порадует. Ваша теория одержала блестящую победу. Не могу даже выразить, до какой степени я благодарен. И до какой степени я счастлив!

– А-а, – протянула Епифьева нисколько не удивившись. – Вы уже сделали Тине предложение? Быстро.

– Да. И она его приняла!

– Ну разумеется. Весталка совершенно счастлива.

– Кто?

– Неважно.

Антону Марковичу хотелось поговорить о Тине, но голос у Марии Кондратьевны был каким-то рассеянным.

– Я вас отрываю отдела? Извините. Просто меня переполняют чувства.

– У меня посетитель. Милиционер.

– В такое время? Что-то случилось?

– Нет, – хихикнула она и перешла на шепот. – Это мой новый респондент, очень интересный молодой человек. Принес оригинальный сувенир – смешной плакат с подписью. Потом покажу и расскажу. А вы мне непременно расскажете, во всех подробностях, как у вас всё произошло.

Зная, что вряд ли уснет, Клобуков встал у окна. Смотрел в небо. Оно было необычное для московского ноября. Ясное и звездное. Только на самом краю сизел туман, то ли отступающий, то ли наступающий.

Счастье, которое испытывал Антон Маркович, было таким же, как это небо – высоким, сияющим, но небезоблачным. Две тучи омрачили его.

Первая была совсем маленькая. Может быть, она просто померещилась и рассеется. Когда Юстина поцеловала его, совсем не пылко, не то что Зинаида Петровна, произошло нечто тревожное. С Зиной естественный порыв был – оттолкнуть ее. Тут же возникло сильное – он еле сдержался – желание прижать Юстину к груди и осторожно, губами, снять слезинки с ее глаз. А если бы не сдержался, что было бы? Она в ужасе отшатнулась бы, и всё бы закончилось, еще не начавшись.

Вторая туча была тяжелая, свинцовая – грозовая. Она мешала счастью, а могла и вовсе его погасить.

На столе всё это время зловещим напоминанием лежал черновик письма, отправленного в Коломну. Черновик понадобился, потому что Антон Маркович переписывал мучительную эпистола несколько раз. В конце концов убрал все оправдания и рефлексии, оставил только главное.

Письмо было такое.

«Дорогой Иннокентий Иванович,

Не могу выразить, до чего я рад, что Вы живы и на свободе. Все эти восемнадцать лет не было дня, чтобы я Вас не вспоминал. Я не стал верующим, но я молился о чуде – чтобы судьба каким-нибудь невероятным образом Вас уберегла от той страшной участи, на которую я Вас обрек.

Да, именно так. Это я тогда, в октябре 37-го, сообщил сотруднику НКВД, где Вы находитесь, хотя знал, что Вас арестуют. Не буду объяснять, почему я это сделал, тем более, что человека, жизнь которого я хотел спасти ценою Вашей жизни, я все равно не спас. Вы, наверное, сказали бы, что меня Бог покарал за предательство, и, конечно, так оно и есть. Но если бы Он покарал только меня!

Я пишу Вам не для того, чтобы облегчить душу, это невозможно. Я пишу в отчаянной надежде, что Вы позволите мне оказать Вам помощь – любую, какую угодно. Не во искупление моей неискупимой вины, нет. Не прощайте меня, я не заслуживаю прощения, да такое и нельзя простить. Но ради памяти моего отца, ради Вашего Иисуса Христа, не отталкивайте меня. Позвольте мне помочь Вам».

Подпись, адрес, телефон.

Две недели как письмо отправлено. Ни звонка, ни ответа. Что само по себе ответ.

Какое уж тут счастье?

Шило

Десять дней вели наблюдение, готовились. Каждый вечер, ровно в десять, как по часам, Бляхин перед сном делал моцион, следил за здоровьем. Подъезд выходил в темный двор, к этому времени уже пустой. Взять «лауреата» большой проблемы не представляло.

Но где привести в исполнение приговор? Самый центр города, улица Кирова. Со всех сторон окна. Если крик или шум, кто-нибудь может вызвать милицию.

Но ничего, придумали.

Санин потренировался согнутым гвоздем открывать замок в подвал, где до революции, при печном отоплении, наверное, хранили уголь, а теперь дворник держал свои метлы-скребки. Стены толстые, глухие. Пусть гражданин начальник хоть изойдет воплем – никто не услышит.

Операцию назначили на пятницу.

Пока кантовались за подвальной дверью. Поглядывали на бляхинский подъезд через щелку. Без пяти десять Санин собирался выйти, принять именинника, а потом они вдвоем с Самураем быстренько уволочут приговоренного вниз, на экзекуцию.

Шомберг, как и в тот раз, был в приподнятом настроении.

Около каменного льва со щитом, охранявшего вход во двор с Кировской улицы, торжественно сказал:

– У них щит и меч, а наш с тобой герб будет щит и лев. Потому что меч – железка, а лев – царь зверей. Мы ихний меч им же в жопу и засунем.

Самурай был весь на винте, приплясывал от нетерпения.

Договорились, что раз это дело не общественное, а личное, исполнять будет Санин.

– Какие имеешь планы насчет осужденного? – спросил Самурай. – Интересно.

У Санина всё было продумано.

– Приведу в чувство. Потом объясню, за что...

– Не, в данном случае это исключено. Поднимут документы, кто проходил через бляхинский отдел. Могут сесть на хвост.

– Ерунда. Лично меня Бляхин там не видел, а через Оппельн прошли десятки тысяч. Если и станут искать, то среди «саженцев» – кого Бляхин отфильтровал и на этап сдал. А я был счастливцем, меня освободили. Нет, пусть, гадина, знает за что. Лицо себе я закрою.

– Лады. И как ты его накажешь?

– Зубы выбью. Как мне. Начинать каждый допрос с битья – эти порядки у них наверняка начальник завел. Технология такая – на крепость проверить. Кто заночует, даст слабину, значит, можно дожать, выколотить показания. Для отчетности: бдим, мол, вражеский элемент через нас не пройдет. А человека, который после освобождения из плена внутренне оттаял, думает, что выжил и всё страшное осталось позади, сломать нетрудно. Наверное, показатели в бляхинском хозяйстве были отличные.

– Зубы выбьешь и всё? – разочаровался Шомберг. – Стоило из-за этого огород городить, десять дней тут торчать?

– Плюс в портки со страху наложит. И хватит с него.

– Нет, так легко он не отделается. Сам же говоришь: он, гадина, много тысяч жизней, и так покалеченных, окончательно добил. Вспомни своего кореша Беглова. Давай так. Ты выбей Бляхину зубы, за себя. А потом я рассчитаюсь с ним за второго свидетеля, посмертного. Лишу зрения, как Беглова. Пускай свою поганую жизнь доживает с палочкой, в ощупку.

Самурай достал из кармана шило.

– Чик раз, тырк второй – и готово. Как в Ветхом Завете. Ты – зуб за зуб, я – око за око.

Глаз Шомберга сверкнул желтым блеском. В дверную щель проникала полоска тусклого света от фонаря над подъездом.

На Санина вдруг накатило, ни с того ни с сего.

– Слушай, – внутренне закипая, сказал он. – Сдается мне, не справедливости тебе хочется. Ты от «исполнения» заводишься. Тебе нравится ломом по хребту, шилом в глаз, яйца оторвать или что ты там надумал сделать с Лесныхом.

– Что?! – просипел Самурай. Глаза наполнились неистовым сиянием. – Что ты сказал?!

– Что слышал. Чем мы с тобой лучше их? Такие же нелюди. Я понимаю – вмазать по зубам, даже убить, но всё вот это... Не для того я прошел через их душегубки, чтобы самому становиться палачом. Зубы

я Бляхину выбью – сколько вылетит с одного удара. Думаю, вылетит много – у меня свинчатка. И баста. А если ты собираешься Лесныха «холостить», давай без меня. Наши пути расходятся.

– Ты... тварь... меня... в садисты записал? – сдавленно выговорил Шомберг. – Меня? Я такой же... как эти?

Из горла Самурая донесся клекот, глаза закатились кверху, остались одни белки. Санин видел напарника в таком состоянии несколько раз, в лагере. Впадая в бешенство, Шомберг делался невменяем. Однажды вгрызся зубами в горло лазаретному лепиле – еле оттащили, с кровавой пеной на губах. Потому с Самураем никто и не связывался.

– Охолони! – прикрикнул Санин. – Меня истерикой не напугаешь.

Но Шомберг не пугал. Глаза вернулись в прежнее положение, но были словно затянуты пленкой.

– На!

Шило ударило в грудь, пробило бушлат, оцарапало кожу. Самурай размахнулся снова, но во второй раз Санин не сплоховал – врезал психу в переносицу, основательно.

Треск, звон, грохот.

Открыл дверь шире, чтобы осветить ступеньки.

Шомберг сидел на земле, хлопал ресницами, шарил вокруг рукой – искал очки. Нащупал, нацепил на нос. Оба стекла вылетели. Щурясь, поднялся.

Проходя мимо, задел плечом, сослепу стукнулся о стену. Качаясь, пошел прочь.

– Хаза твоя, – сказал ему вслед Санин. – Живи. Только деньги занесу, твою половину. И всё, разбежались.

Самурай не ответил.

Без десяти. Еще оставалось время покурить.

Затаскивать Бляхина в подвал Санин передумал. Просто врезать со всей силы, и, пока будет плевать зубами, сказать: «Это тебе за Оппельн, мразота. За всех, кому ты жизнь сломал».

Дверь подъезда открылась на пару минут раньше обычного, будто Бляхину не терпелось попрощаться с зубами.

Загасив папиросу о стену, Санин сунул окурок в карман – на всякий случай, чтоб потом не подобрали мусора. Быстро пошел вперед,

отведя руку со свинчаткой для удара. В этот поздний час, проверено, никто кроме Бляхина из дома не выходит.

Еле успел спрятать кулак за спину. Застыл.

Из двери вместо гражданина начальника вышел отец Рэма Клобукова.

Удивился:

– Вы?

Про чудеса

Позвонил Филипп. Сказал:

– Кое-что для тебя разузнал. Заезжай, когда сможешь. Я приболел, из дома сегодня выходить не буду.

Была операция на открытом сердце, шла семь с половиной часов. К сожалению, неудачная. Естественное кровообращение не восстановилось. Клобуков освобожден только в девятом часу и сразу поехал на улицу Кирова, очень усталый и мрачный.

– По твоему Баху принято решение, – сказал Бляхин. – Положительное. Оформят бумаги – может хлопотать о пенсии как реабилитированный, восстановить прописку, встать в очередь на жилплощадь и прочее. Пришлось повозиться, нажать кнопки, но чего не сделаешь для старого друга, тем более ты Еве лечение организовал. В общем, порадууй деда.

– Если увижу, – вздохнул Антон Маркович. – Он меня избегает.

Спускался на лифте озабоченный. Теперь надо было разыскать Иннокентия Ивановича уже не ради покаяния, дела в конце концов эгоистического, а по важному поводу. Бог знает, сколько недель или даже месяцев протянется бюрократическая волокита, зачем старому нездоровому человеку зря нервничать?

Столкнувшись у подъезда с Саниным, Клобуков очень удивился.

– Брожу по вечерней Москве, – объяснил тот, поздоровавшись. – Понравился двор со львом, куда я вас тогда проводил. Вот, заглянул от нечего делать. Но это очень хорошо, что я вас встретил. Хочу забрать свои вещи. Уезжаю. Сейчас можно?

– Конечно. Я домой.

Ехали по бульварному кольцу на 31 троллейбусе. Оба были насуплены, погружены в свои мысли.

Неудобно долго молчать, подумал Антон Маркович. Но не такое настроение, чтобы говорить о пустяках, особенно с этим человеком.

За мокрым от моросящего дождика окном проплыл силуэт Пушкина.

– Когда открывали это памятник, автор «Преступления и наказания» в своей знаменитой речи произнес ужасные слова, – сказал

Клобуков. – «Разве может человек основать свое счастье на несчастье другого?».

– Почему «ужасные»?

– Потому что за всякое преступление есть наказание, – сам понимая, что это звучит бессвязно, заговорил Антон Маркович о наболевшем. – И казнит каждый себя сам, без снисхождения и пощады. Никакое НКВД и Гестапо не придумают тебе более мучительной казни, чем ты сам.

– Вы об угрызениях совести? А если ее у человека нет и никогда не было?

– Я не о совести. Я о том, как человек обходится с собственной жизнью. О том, что за всё страшное и подлое платишь еще более страшную и подлую плату. «Мне отмщение и Аз воздам» – это не про Бога. Это про себя: ты сам себе отомстишь и воздашь, по причиненным тобою мукам. За черствость и жестокость расплачиваются отчуждением, жизнью без любви. Это все равно что пожизненное заключение в одиночной камере. За подлость – тем, что чувствуешь себя подлецом. За скверное существование – скверными воспоминаниями, за никчемное – тем, что тебя сразу забывают, будто и не было...

У Санина, вначале слушавшего без особенного интереса, зло блеснули глаза.

– А ваш приятель Бляхин, Филипп Панкратович? Я не сразу вспомнил, когда вы сказали, где я слышал эту фамилию, только потом. Подполковник Бляхин в Оппельне фильтровал наших ребят, освобожденных из плена. Бессчетное количество народу перегнал из немецких лагерей в советские. И что? Какое ему наказание за это преступление? Живет в хорошем доме, в достатке, перед сном выходит воздухом подышать...

Санин осекся, словно наговорил лишнего, но Антон Маркович закивал: да-да, я вашу мысль понял.

– Уверен, что Филипп на своей службе наделал меньше зла, чем какой-нибудь карьерист. Я тысячу лет его знаю, он всегда приспособливался к условиям окружающей среды и, если была такая возможность, не слишком усердствовал в своем, прямо скажем, малосимпатичном ремесле.

На «малосимпатичное ремесло» Санин хмыкнул, но перебивать не стал.

– И тем не менее Филипп, с охотой или без охоты, безусловно был винтиком машины Зла, – продолжил Антон Маркович. – Как теперь всё чаще повторяют, оправдываясь, «такое уж было время». Напрасно вы думаете, что судьба не наказала Бляхина. Вернее, он сам себя наказал, и жестоко. Однажды, выпив, он признался мне, что свою жену никогда не любил, а любил совсем другую женщину, мать его сына. Но оттолкнул ее, потому что связь угрожала карьере, и всю жизнь провел с «этой бужениной» – его собственные слова. В шестьдесят лет у Филиппа Панкратовича подорванное стрессами здоровье, а главная радость в жизни – льготная очередь на холодильник «ЗиМ» и прикрепление к какой-то особенной секции Сорокового гастронома на Лубянке. Он сейчас битый час ликовал, что его «включили в список на спецобслуживание». Мне было очень его жалко. Стоило прожить жизнь ради гастронома?

– Бляхин уверен, что стоило. Ему, уверяю вас, ничего больше и не нужно. Он счастлив! – зло бросил Санин.

– Именно. Потому его так и жалко. Это и есть наказание.

Не похоже было, что собеседник согласился, но возражать перестал. Снова замолчали.

На лестнице было темно. С одиннадцати вечера свет в подъезде отключали – домоуправление приняло повышенные обязательства по экономии народной электроэнергии. Слава богу, на индивидуальную это не распространялось, в каждой квартире имелся свой счетчик.

Поднялись на самый верх. Антон Маркович привычно вынул плоский карманный фонарик – посветить на замочную скважину.

На ступеньках, ведущих к чердаку, кто-то сидел, привалившись к стене.

Блеснул голый череп, обрамленный седым пухом, захлопали ничего не видящие глаза, их прикрыла костлявая рука с длинными пальцами.

У Клобукова пересохло в горле.

– Иннокентий Иванович... – не сказал, а просипел он.

Худое морщинистое лицо озарилось радостной улыбкой. Обнажились голые десны.

– Антоша! Ах, как хорошо! А я приготовился ночевать здесь, поезда-то уже не ходят. Звонил – никого!

Бах оперся о стену, хотел подняться, но с первой попытки не получилось.

– Там Ариадна, но она никому дверь не открывает, – пробормотал Антон Маркович.

Кинулся помогать. Локоть у Баха был острый и тонкий, как лапка кузнечика.

– Представляешь, я твое письмо только сегодня увидел, случайно. Хозяйка под дверь сунула, а сама ничего не сказала. Две недели пролежало. Вижу-то я плохо, очки старые, им двадцать лет. Читать почти невозможно. Подметал пол веником, гляжу – что это?

Не сразу попав ключом в замок – тряслась рука, Клобуков открыл дверь, включил в коридоре свет.

Иннокентий Иванович не отвернулся от него! Простил!

– ...Подпись и адрес кое-как разобрал, потому что крупно написано, а сверху всё мелко, не сумел, – радостно шамкал Бах, – но это ничего, ты сейчас сам мне расскажешь, как у тебя дела, как ты жил. Вот ведь какой драгоценный мне подарок от Господа!

Сердце сжалось. Помилование отменялось. Будет казнь. Прямо сейчас. Ужасная.

Кажется, Санин что-то понял – он смотрел на искажившееся лицо хозяина квартиры прищурившись.

– Вы меня не представляйте. Я пойду, не буду мешать. Только возьму узелок.

– Да-да, сейчас...

Антон Маркович сходил в комнату, вернулся – и вдруг подумал: такие казни должны быть публичными. И свидетель какой надо.

– Не хотите, чтобы я вас знакомил – не буду. Но прошу вас остаться, – сказал он твердым голосом. – Это в продолжение нашего разговора о преступлении и наказании. Мне важно, чтобы вы послушали. Именно вы.

– Антошенька, – попросил Бах, – ты не дашь мне чаю? Продрог я на лестнице, у вас там не топят. И еще ужасно есть хочется. Просто хлеба, мякиш. Жевать-то мне нечем.

Пусть хоть съест что-нибудь, а то ведь потом откажется, подумал Клобуков.

Пригласил обоих в комнату. Нагрел чайник, принес хлеб, плавленый сыр «Новый» – больше ничего мягкого не было.

Еле дождался, чтобы Иннокентий Иванович, аккуратно отрезав и отложив корочку, намазал ломтик хлеба.

Санин ни к еде, ни к чаю не прикоснулся. Смотрел выжидающе.

– Иннокентий Иванович, мое письмо с вами? Давайте я просто его прочту.

Это будет легче, чем бляеть, подбирая слова.

– Конечно. Вот оно.

Покашляв, Антон Маркович стал читать.

Бах приложил ладонь к уху – кажется, стал еще и глуховат. По выражению лица было неясно, понимает ли он смысл признания. Санин-то всё сразу ухватил. Опустил глаза, подбородок будто окаменел.

Вряд ли чтение длилось дольше минуты, но Клобукову показалось, что целую вечность.

Замолчал. Смотреть на Иннокентия Ивановича сил не было.

Поднялся Санин.

– Ну вот что, вы тут разбирайтесь без меня. Пойду... Только вот что я вам скажу. – Он обращался к Баху. – Вы обязательно новые очки закажите и зубы вставьте. Без зубов не жизнь. Денег я дам, у меня много.

Он взялся за узелок, но Клобуков вскинулся:

– Не нужно! Я сам, сам! Если, конечно...

Хотел оглянуться на Баха – и не смог. Санин пожал плечами.

– Ладно. Провожать меня не надо.

Но Антон Маркович пошел за ним в коридор – чтобы хоть чуть-чуть оттянуть неизбежное.

– Кого вы спасти-то хотели? – спросил Санин на пороге.

– Жену.

– А-а. Понятно.

Ушел, не попрощавшись. Дверь за собой закрыл сам.

Постояв две-три секунды, Клобуков стиснул зубы. Вернулся в комнату.

Бах пил чай.

– Четыре ложки сахара положил, – сообщил он, блаженно улыбаясь. – Какое наслаждение!

Его лицо стало расплываться – это у Антона Марковича выступили слезы.

– Вы... вы примете мою помощь? – тихо спросил он. – Пожалуйста! Не отказывайте!

– С великой благодарностью. Про зубы и особенно про очки твой знакомый, конечно, прав. Если бы я снова мог читать, это было бы большим счастьем.

– Да вы внимательно выслушали письмо? – испугался вдруг Клобуков. – Вы поняли, что это я вас тогда выдал?

– Я понял главное. Ты за меня молился каждый день. Очень может быть, это меня и спасло. Молитва от человека неверующего Богу особенно драгоценна.

– И вы меня прощаете?

Слезы мешали смотреть. Антон Маркович сердито смахнул их, но тут же выступили новые.

– За что? – удивился Иннокентий Иванович. – Всё, что со мной произошло, было благом. У Господа по-другому не бывает. Это были самые счастливые, самые лучшие годы моей жизни.

– Самые лучшие?

– Конечно. Где человек нужнее всего, там ему и лучше. Ты же врач, ты должен это знать. Разве ты не чувствуешь себя счастливым, когда избавляешь больного от боли? Разве ты не ощущаешь в такие моменты, что твоя жизнь полна смысла? Ах, каких хороших и интересных людей я встретил! И сколько!

– Где? В тюрьме? Вы имеете в виду других заключенных?

– Не только заключенных и не только в тюрьме. Хотя и в тюрьме тоже. Со мной произошло столько добрых чудес!

Иннокентий Иванович стал с удовольствием перечислять.

– Первое чудо случилось прямо на Лубянке, когда меня привезли. На допросе меня ударили, только один раз, я упал со стула, ушибся головой и очнулся уже в больнице.

– Кто ударил?

– Какой-то сердитый, испуганный. Не помню. Я запоминаю только хороших людей. От ушиба головы у меня произошел временный паралич. Несколько месяцев я лежал, не чувствуя тела. Это было такое удивительное, ни на что не похожее ощущение! Что в тебе жива только душа, только мысль. Сколько я всего передумал, сколько

перечувствовал! А потом понемногу начал двигаться, вставать. Все были очень терпеливы и заботливы. Один очень хороший человек по секрету сообщил, что мне невероятно повезло. Меня хотели назначить на процессе предводителем какой-то секретной антиправительственной организации, но решили, что привозить на суд паралитика и приговаривать его к высшей мере будет как-то не очень. Вместо этого я получил всего лишь 25 лет и поехал в лагерь. Ну не чудо? В лагере я тоже очень хорошо устроился. Санитаром, а потом медбратом в «больничке», у меня ведь еще с мировой войны опыт. Но теперь-то я знаю и умею намного больше. Ах, какая замечательная это была жизнь, если б ты только знал! Ведь, казалось бы, «мертвый дом» или, выражаясь по-старокнижному, узилище, то есть узкое, тесное место, где сжимают тело и душу, а всё оказалось наоборот. Что ни день, то радость. И все ко мне очень, очень хорошо относились. Начальники много раз желали ходатайствовать о моем досрочном освобождении, но я умолял их оставить меня, где я нужнее. Три года назад главный врач Тимофей Кузьмич, совершенно великолепный человек, говорит: увы, не имею права вас более держать – вышел указ: заключенных, достигших 75-летнего возраста, вне зависимости от срока, всех выпускать. Я даже заплакал. Где я еще буду так нужен? Кому? Но Тимофей Кузьмич обо всем подумал, всё устроил. Дал мне рекомендательное письмо своему коллеге, в подмосковную колонию – в Москву-то мне не положено. Там, в лазарете, я до минувшего лета и прослужил, по справке об освобождении – вольнонаемным медбратом, но силы уже не те, и видеть стал совсем плохо. Пришлось уволиться, из общежития съехать. Сейчас вот поселился в Коломне, езжу в колонию помогать на всяких легких работах – лекарства разносить, сидельничать и прочее. Зарплату они мне платить не могут, но кормят. Посоветовали подать прошение о реабилитации. Сказали, тогда дадут комнату, назначат другую пенсию. Сейчас у меня минимальная, четыреста рублей. Половину отдаю за жилье, половина уходит на проезд до колонии и обратно. Да что я тебе про скучное! Давай лучше расскажу, сколько со мной за эти годы произошло чудес.

И рассказывал до глубокой ночи. У Иннокентия Ивановича действительно жизнь состояла из сплошных чудес, одно поразительней другого – хоть жите пиши.

Потом Бах вдруг спохватился, что ничего не спросил про жену и детей.

По Мирре и Рэму поплакал, сказал, что будет за них молиться.

Об Аде молиться не предложил. Рассмотрел рисунок, который Антон Маркович сегодня утром обнаружил на кухонном столе.

Будто маленький ребенок намалевал: печальная рожица, плачущая кровавыми слезами, и внизу написано «Девочка не плачь».

– Страшноватый рисунок, да? – сказал Клобуков. – Я даже забеспокоился. И ничего не объяснила, сколько я ни спрашивал.

– А может быть, и нестрашный, – сказал Иннокентий Иванович. Мечтательно, по складам, произнес: А-ри-ад-на. Самое лучшее на свете имя. Ты, Антоша, о дочери не печалься. Она, может быть, обитает не здесь, а в ином мире, где лучше, чем наяву.

На яву

– Вставай, спящая красавица, уже второе солнце взошло! Все-таки поразительно, сколько времени ты дрыхнешь. Мычишь, бормочешь что-то. Опять тот же сон?

– Да. – Ада открыла глаза. Улыбнулась брату Рама, печально. – Тесная темная комната, всё тусклое, серое. Небо тоже серое, и в нем только одно солнце, на которое больно смотреть. Зато там папа. Ужасно его жалко, но ведь ему пока ничего не объяснишь. – Она всхлипнула. – А тебе он когда-нибудь снится?

Было в самом деле поздно. В светло-изумрудном утреннем небе уже поднялось второе, розовое солнце. Первое, оранжевое стояло почти в зените.

– Иногда, – пожал плечами Рама – Редко. Но это потому что я сам бывал в долгих полетах и знаю, что там нет ничего опасного. Просто очень скучно. Настоящая жизнь – это у нас на Явú, а там – просто командировка. Ну, или сон. Ты зря за папу волнуешься. Не плачь, девочка. Когда ты грустишь, у тебя слезы красные. Брось. Я вернулся, и он вернется. Домой, на Явú. Мы все по нему скучаем.

– Я не скучаю. Потому что вижу его каждую ночь. Раньше, давно, ты тоже мне снился. Потом перестал. Бросил меня там одну. Только Чепандра меня никогда не бросает, даже во сне. Вот она мне настоящий друг, не то что ты. А тебе, Чепандра, что-нибудь снится?

– Снится, что ты ведешь себя, как последняя дура. А я только и делаю, что слежу, как бы ты глупостей не натворила, – проворчала черепаха. – Вставай скорей, я жутко голодная. Твоя мать уже приготовила завтрак, будет ругаться. Ты ее знаешь.

Из сада тут же донеслось:

– Рама, Ада, Чепандра, долго вас ждать?

– В твоём сне папа что-нибудь говорит? – спросил Рама, когда они вышли на залитую розовым светом лужайку.

– Всё время, только непонятно. Что-то ласковое, но бессмысленное. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. И меня не слышит, сколько я ни пытаюсь.

– А ты попробуй ему что-нибудь нарисовать. Хотя какая разница? Это же только сон.

Приложение

«вечер»

РАЦИОНАЛ

(тяжелые случаи выделены)

«М»

ЗДОРОВ								НЕ ЗДОРОВ																				
Полуполный				Полупустой				Полуполный				Полупустой																
<i>(отношение к прожитой жизни, восприятие старения, у нездоровых — заикленность на болезнях)</i>																												
Махаяна		Хинаяна		Есть дело		Нет дела		Одинокий		Не одинокий		Одинокий		Не одинокий														
востре- бован	не востре- бован	активен	не активен	общест- венное <i>(работа, обществен- ная деятель- ность)</i>	личное <i>(семья или хобби)</i>	одинок	не одинок	есть дело	нет дела <i>(интереса)</i>	огонь <i>(достает ли болезнью окружающих; эгоцентризм)</i>	вода	есть дело	нет дела	огонь	вода													
акцентор <i>обес. преобладает на фоне сферы личности</i>	Дюпор	есть семья	нет семьи	востребован	не востребован	есть семья	нет семьи	огонь	вода	бульдог	пальцы	огонь	вода	не востребованное	востребованное	нет дела	есть дело	ригидный	пластичный	вода	огонь	не востребованное	востребованное	нет дела	есть дело	ригидный	пластичный	вода

«вечер»

ЭМОЦИОНАЛ

(тяжелые случаи выделены)

«М»

ЗДОРОВ								НЕ ЗДОРОВ																						
Полуполный				Полупустой				Полуполный				Полупустой																		
Махаяна		Хинаяна		Одинокий		Не одинокий		Одинокий		Не одинокий		Одинокий		Не одинокий																
востре- бован	не востре- бован	активен <i>(есть дело)</i>	пассивен <i>(нет дела)</i>	есть дело	нет дела	огонь <i>(глобный старик)</i>	вода	есть дело	нет дела	огонь <i>(утраченный старик)</i>	вода	есть дело	нет дела	огонь	вода															
огонь	вода	есть семья	нет семьи	востребованное	не востребованное	востребованное	не востребованное	огонь	вода	есть дело	нет дела	ригидный	пластичный	вода	огонь	не востребованное	востребованное	нет дела	есть дело	ригидный	пластичный	вода	огонь	не востребованное	востребованное	нет дела	есть дело	ригидный	пластичный	вода

notes

СНОСКИ

1

«Кто, покинувший родину, убежит от самого себя?» (лат.)

2

Пылеистребление (лат.)

3

Моя вина (лат.)

4

Чудесатей и чудесатей (англ.)